

ТРИЗ

**ДМИТРИЙ
УРНОВ**

**БОРОДВИНСКОГО
БОЯ**



Annotation

Эта книга художественно-документальной прозы открывает особый мир, где действуют конники и кони. Перед читателем проходят или, вернее, проносятся кавалеристы, ученики Брусилова, сподвижники Буденного, выдающиеся советские и зарубежные спортсмены, мастера древнего и нестареющего искусства управления лошадью. Веками конь служил человеку в бою и в труде, сегодня служит преимущественно в спорте, однако сегодня, как и всегда, истинным конником является тот, кто самоотверженно предан своему делу, — таков пафос этой увлекательной книги.

- [Дмитрий Михайлович Урнов](#)

- [Часть первая](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)

- [Часть вторая](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)

- [Часть третья](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)



Дмитрий Михайлович Урнов
Железный посыл,
или Жизнь в седле Николая Насибова,
мастера-жокея международной категории,
чемпиона и рекордсмена Советского
Союза, трехкратного победителя Приза
Европы, призера Вашингтонского Кубка и
Триумфальной Арки, государственного
тренера скаковых лошадей
Рассказано им самим

Часть первая
Порода сказывается

Мы стояли на ипподроме под Парижем. Каждый день приходили к нам русские. Вдруг пришел Винкфильд, знаменитый Джеймс Винкфильд, скакавший некогда с успехом в Москве у Манташевых.

— Мое почтение!

Драгоманов,^[1] наш глава, тут же узнал его. Он встал перед стариком как в строю:

— Узнаете? Мальчиком у вас ездил.

Пошли мы с гостем по конюшне. Про Анилина он сказал:

— Хорош, но тела скакового пока нет.

Эти слова вспоминал я на старте. Каждый заперт в отдельной кабинке — звонок, дверцы открываются: «Пошел!» Ничего этого Анилин в жизни своей не видел и, как приехали в Париж, робел. И я боялся: кабинка до того узка, что у всадника, если только лошадь чуть попятится, колени оторвет.

— Ты уж, Николай, как-нибудь выскочи, — попросил Драгоманов.

«Как-нибудь» Насибов делать ничего не привык. Насибов есть Насибов.

Я заставил Анилина прижаться носом к дверце и освежал его поводом, дожидаясь последнего мгновения.

Слева от меня виднелся английский премьер-жокей Пигот. Драгоманов про него рассказывал: прадед его тоже скакал у нас, в России. Как-то побился с Болотовым, что объедет. И проиграл. Тут же прямо с весов пошел в туалет, принял яд. Вот это, я понимаю, порода!^[2] Правда, для жокея нынешний Пигот высоковат. Верзила! И глуховат к тому же. Но этим он даже пользуется. С ним ухо надо держать востро. Как-то мне в скачке кроссинг сделал — поперек дороги поехал, круп подставил. «Что же ты делаешь?» — после спрашиваю. «Простите, сэр, не слышат ваших копыт». В Париж Пигот только утром прилетел. «Где, — говорит, — эта скотина, которую мне погонять предстоит?» А «скотина» еще в прошлом году оценена была в двести пятьдесят тысяч.

Старт! Я кинул жеребца из коробки.

Вылетая, услышал слева шум. У Пигота лошадь не пошла. Он спокойно, как профессор, «прописал» ей хлыста. Но жеребенок заупрямился, и англичанин невозмутимо остался на старте. А как только расседлал, отправился в аэропорт и улетел. Вечером он скакал в Токио.

Я с пятнадцатого места переложился на пятое, поработал поводом,

вырвал голову скачки и повел. Драгоманов скажет: «Зачем? Сидел бы себе и выжидал». Я знаю зачем. Едут французы кучно. Сторожат друг друга, а потом идут на рывок. Мне же выгоднее взять их на силу.

«Эх, — качал я поводьями, — было бы время пару пробных галопов сделать, дыханье жеребцу открыть, как бы сейчас от них ушел!» Говорил ведь, говорил: «Что-нибудь одно — или производителем стоять, или на приз скакать!» А мне: «Случной сезон! Селекционный план!» Вот вам и план... Э, маленький, давай!

Ходи конем с расчетом. Есть среди жокеев, конечно, слишком уж шахматисты. Выигрывают в уме, а в скачке полная неожиданность вышибает их из седла. Когда скакал я в первый раз за океаном, нас толкнули — Гарнир упал на колени. Если бы я «переживал» или «рассчитывал», то моя бы скачка и кончилась. Но я, когда скачу, вижу все примерно так, как вы — за обеденным столом. У финиша Гарнир был вместе с головными лошадьми. Слезая, Драгоманов говорит: «Коля, у тебя лицо в крови». А я и не заметил. Это Гарнир, когда с колен подымался, меня по «портрету» задел.

С Анилином мы были уже у полукруга, когда услышал я и понял: «Вот он!» На нас надвигался Морской Орел — «лошадь века».

Любое животное с гривой и хвостом можно назвать «лошадью». Чем не лошадь? Ржет, брыкается, ушами шевелит. Но из того, что не все Лошадь видели, еще не следует, будто и не бывает этого — жеребец-дарование, кобыла-талант. Был же наш Крепыш. Был итальянский феномен Рибо. И вот он, Морской Орел...

Я взял Анина на себя. С другим соперником я стал бы резаться, именно здесь, чтобы вымотать его, бить на силу. Но лошадь, чей класс измеряется «веком», — не очередная знаменитость. Другая дистанция, так сказать.

Пусть делает скачку, а я дам своему передохнуть.

Гнедой, глубокий, но не крупный, не без пороков, которые, однако, составляют шик классной лошади, Морской Орел поравнялся со мной. Пожалуй, два, а то и все три миллиона за него после этой скачки дадут. Плечо какое! Куда ногу выносит! Рычаги.

Его жокей, «золотой мальчик», просто притулился на седле. Стремена у него были до того коротки, что он почти стоял на спине у жеребца. Французы вообще сидят невообразимо коротко.

Я уперся в повод, чтобы поддержать Анину голову и дать ему вздохнуть у последнего поворота.

Иногда меня спрашивают: «А мустанга вы перегоните?» М-мустанга...

То сказки. А у нас скачки. Скаковая лошадь несется так, что никаким легендарным вашим мустангам не снилось. На Вашингтонский Кубок ехали, мировой рекорд побили, Анилин тогда третьим был, и мне же еще говорят: «Что ж вы так?» Да ведь там не лошади Пржевальского скачут!

Вашингтонский Кубок штурмовал я из года в год, и он был бы у нас, пожалуй, если бы скакать на него сразу после того, как Анилин взял Приз Европы. Вот когда дыханье у жеребца открылось! «Нет такой лошади, которая могла сделать два резвых броска по дистанции», — говорили эксперты. Но мы с Анилином их сделали. И надо бы сразу в самолет — и на Вашингтонский. «Но, — говорят, — Коля, вдруг после такого триумфа жеребца скомпрометируешь?» Я и остался.

— Au revoir! — крикнул мне через плечо «золотой мальчик».

— Резервуар, резервуар, — сказал я в ответ.

Глядя вслед уходящему Морскому Орлу, я точно представил себе, что теперь дома скажу. «Поймите, с каким классом мы соревнуемся! Куда бы ни приезжали советские конники, они несут с собой прогрессивные идеи. А какие идеи, я хотел бы знать, если...» И взялся я за хлыст.

Анилин прижал уши, как бы спрашивая: «Чего тебе еще нужно?» А помнишь, друг, говорили нам: «Сделайте все возможное». Так что, дорогой, ноги переставлять надо.

Насибов не бьет. Насибов обозначает удар.

Лавина копыт сзади повалилась на меня. Французы рванулись. Шестисоттысячный Барбизонец, которого жокей лупил сплеча, бил меня, судя по всему, за четвертое место.

— Э-э, маленький! Не отдай! А-а-а!

Полмиллиона за Анилина предлагали — вот что значит в такой скачке «остался пятым».

* * *

После проводки и уборки, когда жеребец успокоился и поел каши из отрубей, Драгоманов, как обычно, уселся писать свой дневник. Я заглянул ему через плечо. Он выводил: «Кормилец (так называл он Анилина) прошел хорошо. Николай проявил, однако, свое обычное упрямство. Ведь я просил его не водить скачку. Ехал бы по другим лошадям, могли бы на одно-два места оказаться ближе. Но его не переломишь. Он считает, что только он...»

— Что это вы пишете такое? — спросил я.

— Правду, — ответил Драгоманов.

Мы принципиально сцепились. Но опять пришел Винкфильд и совсем чисто сказал:

— Поздравляю с хорошей ездой.

— Водить не надо было! — твердил свое Драгоманов.

Но Винкфильд взял мою сторону.

— Тогда разыграли бы еще резвее, — сказал он, — а нам это невыгодно. Сила у вас есть, а вот спид...

Он чмокнул губами.

— Видели, как Морской Орел всех раскидал?

— Такие лошади, — отозвался Драгоманов, — раз в столетие рождаются.

— Да, это в нем Святой Симеон скачет. Помните Святого Симеона?

— Еще бы!

— Но ведь в России была эта линия через Сирокко, внука Симеона.

Где же она?

— Война, — объяснил Драгоманов, а после уже добавил: — Старик прав. Где Святой Симеон в родословной сидит, там и настоящий класс. Как покойный друг Миша^[3] детей Сирокко искал! Их угнали у нас во время оккупации. Миша после войны всю Восточную Пруссию изъездил. Даже в предсмертном письме написал: «Не удалось мне найти сыновей Сирокко. Линия эта вся ушла у нас в матки. Нужен жеребец из семейства Святого Симеона. В этом гвоздь нашей селекционной работы». Он еще остыть не успел, когда я это письмо читал... Святой Симеон нам нужен. Вернемся — надо будет маршалу еще раз доложить...

Пришли поздравлять французы, хозяева ипподрома, а с ними несколько русских и еще агент по транспортировке лошадей, голландец Ван-дер-Шрифт.

Драгоманов поднялся им навстречу, выслушал восторги, подтянулся и сказал:

— Мы благодарны.

Я же, глядя на драгомановскую статую, в который раз сказал себе: «Кавалерист!» И ростом, и по взгляду на лошадь кавалерист. Откуда эта любовь к рыжим, к вислым задам и массивной линии Тагора? Вот так же стоит он с телефоном в руке и отвечает в трубку: «Слушаю, товарищ маршал! Так точно, товарищ маршал...» Кавалерийская закваска. А я — жокей. И на лошадь смотрю как жокей. На все вообще я смотрю как жокей.

Развели мы с Драгомановым что имелось у нас для наружных втираний Анилину в пропорции один к трем. Отметили хорошую езду.

Русские запели. Один, хотя и пожилой, пел совсем хорошо. Драгоманов шепнул мне: «Этот из породы знаменитых гитаристов. Я мальчишкой слышал его отца».

И Драгоманов тоже запел. Петь не может, но не песни поет, а свою жизнь, поэтому многое из того, что говорит он о лошадях, и я с ним не согласен, я ему прощаю.

Все поддержали Драгоманова.

Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки...

Двое русских, одних с Драгомановым лет, подтягивали ему особенно старательно. Голландец — агент международный, лошадей возил по всему миру и на всех языках понимал. Посмотрев, как поют вместе эти двое русских и Драгоманов, он быстро глянул в словарь и сказал:

— Рубились вместе!

Я показал ему тоже на пальцах, что если они и рубились, то вот так...

— О, — воскликнул голландец, заглянув в словарь, — соперники!

Послышался у конюшни автомобиль, и вбежала девушка из нашего посольства. Обычно она приходила утром, переводила нам на целый день разговоров с французами и уезжала. А сейчас она сразу выкрикнула:

— Москва вызывает!

Драгоманов поднялся, как памятник Котовскому, и удалился с ней.

Сколько себя помню, я — на лошади. Родителей не помню. Был у меня старший брат-жокей, он не вернулся с фронта. А с теми из жокеев, кто воевал и вернулся, встретились мы сразу на дорожке ипподрома.

В первый же свой сезон я выиграл семьдесят первых мест. Стал по званию ездоком, еще через год получил жокейство. «Король Ростовского ипподрома!» Наконец, Москва.

Я взял с собой свою курицу. У меня на конном заводе была курица. Каждое утро, прежде чем сесть в седло, выпивал я сырое яйцо — и голодал до обеда. Обед... Его у жокея практически тоже нет.

Когда со всех концов страны мне пишут: «Хочу стать жокеем, как вы», — я сразу спрашиваю: «Рост? Вес?!» Тут надо зорко вперед смотреть. Жокейство дело жестокое, как балет. Вот я Насибов, но вес меня замучил, носоглотка подвела, и остается «с палочкой стоять». Так это говорится у нас, у жокеев, в тяжелую минуту, когда ты с хлыстом да без лошади.

Я не жалею, а объясняю.

Кто-то едет. Ты стой и смотри. Без дыханья как поскачешь? Ведь качать надо. Поводьями вот так, вот так — и так всю дистанцию. Лошадь надо на себе везти. А вы думали это — на лошадке кататься?

«Пр-роклтая сырость!» — стою на тренировке утром и думаю. Ведь что же он делает, что делает этот, который «жокеем» называется и на моей лошади сидит? Нет, выпишу из Пятигорска Пашу Борового. Уж его руки и мое имя сделают все возможное, когда будет приз.

А хотелось бы, как хотелось бы и самому сесть! Схватиться бы еще раз с теми, с кем не доспорил принципиально у финишного столба, чьей пыли в свое время наглотался. С одним в особенности... Я глотал его пыль, о, глотал! Бил он меня, как ребенка, но пришло и мое время. Мы с ним Фордхэм и Арчер,^[4] и вдвоем на дорожке нам всегда было тесно. Он из рода жокеев, из породы жокеев, которую буквально выводили, женись из поколения в поколение на маленьких. А я, хотя и был у меня брат жокей, все же не родился жокеем, а должен был стать им.

В Москву приехал — курицу выпустить негде. Пришлось ящичек сделать и на замок ее запирать. Курицу я до последнего времени еще держал, но, конечно, так, для памяти, как приметку. Возил ее всюду с собой и сколько муки за нее от таможенников принял! Один спрашивает: «Что это вы, Робинзон Крузо?» Приходи, говорю, на ипподром, посмотришь, какой я

Робинзон. «А на кого ставки делать, вы мне подскажите?» — «Ставь на меня, не ошибешься!» После скачек пришел он в паддок. Ну как, спрашиваю. Смеется, приглашает. «Нихт гут», — говорю, потом это приглашение придется столько выпаривать, что никакого сердца человеческого не хватит.

В Москве, когда я из Ростова приехал, «королем езды» был Ян Груда. Великий всадник. Пейс понимал, как никто. Знал, что есть в лошади и как ею распорядиться. Руки, сердце, воля — все было у человека. Не имел он одного только — страха и отчаяния не знал. Худой, узкий, нос длинный и узкий. Он этим носом заканчивался как бы вроде корабля. Человек-нож. На дорожке резал всех подряд. Ха-ха! Но я повис у него на хвосте.

В Критериуме при выходе на последнюю прямую произошло столкновение. Критериум, то есть приз Сравнения: двухлетки с трехлетками. Вел Треба, Груда за ним. Элрон под Требой спотыкнулся. Груда с лошадьёю на него. Один жокей летел через голову метра три вверх. Говорят, упал с криком: «Я умер! Я умер!» Я же, хотя и выиграл — просто даже за отсутствием соперников, — сильно ударился головой о межевой столб, что стоял в повороте, и поэтому на проводке шел, прикладывая серебряное блюдо, которое мне вручили, к синякам. Огромный нос Груды сделался после этого как маленький хобот. Хрящ ему выбило, и он забавлял всех нас, свободно прикладывая свой нос, хочешь, к правой, хочешь, к левой щеке. Но скоро погиб на охоте замечательный Груда Ян... Гибель Груды помешала доказать мне в открытом бою, кто у нас первый жокей.

Бывают времена, когда вдруг один за другим начинают уходить и люди и лошади. Умер Груда, а следом за ним пал рыжий Марсель, на котором Груда столько выиграл. Но в особенности помню, как в последний раз видел я того, кого Драгоманов называл «другом Мишей».

Да, наш, конный был человек! Помню еще, как Проза, его любимица, сломала на проминке ногу. Проза, которую он на выводах всегда сам показывал, и у него даже руки дрожали, едва он брался за повод. «Вот это, — говорил он, — то, что я понимаю под чистокровной лошадьёю». Кобыла по себе была правильная. И вдруг на проминке, на легком галопе, кость пополам. Это конец. Милиционера вызвали, он пистолет хоть и вытащил, а стрелять отказывается. «В жизни, — говорит, — стрелять не приходилось. Боюсь, в публику попаду». — «Дай!» — тогда он сам резко выкрикнул, как пролаял. Тут уж рука у него не дрогнула, и мученья кобылы прекратились.

Тогда, в последний раз, вышел он утром на дорожку, к шести часам. Солнце поднялось, как всегда, вместе с нами. Посредине скакового круга,

над травой, еще висел легкий туман. А он, как обычно, с противоположной прямой смотрел тренировку. Так, из-за тумана, он помахал мне рукой. А когда его не стало, обнаружили письмо. Письмо Драгоманову. Драгоманов был тогда в Абакане. Вызвали. Уже звонил маршал: «Как же вы могли упустить такого человека!» Потом стал спрашивать, что в письме. Драгоманов отвечал: «Сказано, что надо нам все-таки вести линию Святого Симеона через детей Сирокко». — «Согласен, — отвечал маршал, — но где их взять-то, детей Сирокко?»

— Да, — говорил Драгоманов, качаясь на сене в углу автобуса-фургона, — были бы деньги, я бы годовичка этой линии у французов поискал. Одного мне даже предлагали. С рахитом немножко, но ничего. Для породы! Спермы хорошей тоже можно было бы достать. От самого Ричарда III или Пой-Мне взять бы колбочки две, как хорошо! Подобрал бы я кобыл достойных, по себе ладных и хороших кровей. Взял бы парочку маток из наших старых почтенных линий, где сказываются еще Шантеклер или Грымза, вот тебе и Святой Симеон, по меньшей мере, в пятом колене...

Чтобы этот ребус был понятен, я скажу: порода ведется по линиям, которые пересекаются друг с другом, как железнодорожные пути на стрелках, и движутся дальше своей дорогой. Но это не само собой, а через подбор. Лучшее с лучшим не всегда дает наилучший результат. Например, Анилин из линии Золотого Руна, кругом него в заводе одно Золотое Руно, и родниться он вынужден с близкими родственниками!

По дороге домой мы уже проехали Страсбург. Надо владеть пером, чтобы описать места, нами виданные.

— Хорошо, если свой автобус, — рассуждал Драгоманов, — все вовремя и когда хочешь. Не надо ждать вагонов, самолетов, не надо иметь дела с транспортными агентами. А ведь сколько было разговоров! Как приходилось убеждать... «Автобус лошадям?! А телевизора им не нужно?» Что, говорю, телевизор! У нас свой конный санаторий имеется. «Как... санаторий?» Да так, поезжайте и посмотрите: пляж, плес, купанье... «Для чего же все это?» Для того, отвечаю, чтобы дать передышку мускулатуре. Лошадь плавает, дыханье разрабатывает, и копытами о дорожку ей стучать не приходится, сухожилия успокаиваются... «Нет, — говорят, — все вместе взятое, ваши скачки, зачем?»

— Ничего, — сказал я, — приедем в Москву, я с ними поговорю.

Мы останавливались и делали жеребцу проводки. За Брестом вышел Анилин на обочину и вдруг заиграл.

— Родные места! — засмеялся Драгоманов. — Знаешь, Кормилец и Сан-Клу в этом году узнал. Вот память! Лошадиной силы. Особенно ему там парк нравится, я заметил. С видимым удовольствием по нему на проводке гуляет. Парк хороший, что и говорить.

Было, однако, холодно. Из Парижа мы выехали +15, а тут мороз градусов двадцать. Солярка, на который шел наш автобус, замерзала на

стоянках.

— Парк в Сан-Клу при ипподроме хороший, — продолжал Драгоманов, — дренаж, водоемы, по охоте все сделано...

Хлопая руками, чтобы согреться, он прошелся перед автобусом.

— А какой у нас ипподром специально для скачек можно сделать!

Тут я сказал про себя: «Хотя ты и кавалерист, а все-таки наш брат, скаковик».

У каждого из тех, кто судьбой связан с конем, свой идеал. Драгоманов, например, руководит скачками. Но не даром же поет он: «Они ехали долго в ночной тишине...» Не даром же, когда поет он это, он плачет, а потому, хотя он и руководит скачками, ему рисуются призовые скакуны, все же напоминающие чем-то кавалерийскую ремонтную лошадь. А я... я, когда о лошадях думаю... Хотя трудно сказать, когда я о них не думаю! Но когда думаю я о них в ясные минуты, когда не заботы конюшни, не завтрашний пробный галоп или приз в голове, а мечта, тогда вот вижу я белую дымку, небо, горы, пастбища, табун. Если это табун молодняка, то визг, беготня, игра. А если представишь себе маток с жеребятами, то чинный порядок, тишина, только речка горная шумит, и кобылы изредка окликают своих малышей.

Мы тронулись в дальнейший путь. Драгоманов опять улегся на сене и продолжал мечтать вслух:

— Разбить дорожки, посадить деревья, сделать новую скаковую аллею...

За окном автобуса бежали замерзшие, но еще не укутанные снегом поля: самый щемящий сердце вид.

— Ты вот не помнишь, — говорил Драгоманов, — а я мальчишкой застал прежний ипподром. Ведь, в сущности, это был целый город! Тренировались в Петровско-Разумовском парке, купать ездили на Фили, конюшни стояли по всей Башиловке. Ипподром, им ненавистный, лошади видели только в день скачек, внимание у них рассеивалось каждый день новыми впечатлениями.

Анилин вздохнул, будто и он понимал наш разговор.

— Почему Кормилец полюбил парк в Сан-Клу? Потому что там он отвлекается и забывает ипподром. Он гуляет, публику рассматривает и, главное, знает: уж скакать сегодня не придется!

Драгоманов поднялся, подошел к жеребцу, заглянул к нему в кормушку и, почесывая ему шею под гривой, говорил:

— Классной лошади надо создать человеческие условия. Приедем,

доложу маршалу, что без теплых конных душей обходиться на конюшне больше нельзя. Не то время! А какие трибуны из новейших материалов можно сделать! Ты вот не помнишь старую трибуну, а сколько в ней было воздушности, какой полет, какая легкость! Миша плакал, когда она сторела. А потом что построили? Я из заводов вернулся, спрашиваю: «Миша, что это?» Ведь из судейской последнего поворота не видно. Публика из конца в конец мечется, чтобы скачку посмотреть. Колонны, колонны... Нет, я мечтаю о таком козырьке на ипподроме, как в аэропорту Шереметьево или как в Орли. Но попробуй я об этом заикнуться, начнут мне говорить: «А путевок в Гагры вашим лошадям не нужно? Или, может быть, однокомнатные квартиры с не совмещенным санузлом им предоставить?»

Мы сделали еще одну остановку и вышли вместе с жеребцом на шоссе. Через дорогу, видимо, из деревни, стоявшей вдоль шоссе, погнали небольшой табунок лошадей. Они прошли совсем близко от нас. Однако Анилин хотя и смотрел на них, но даже не заржал, словно это были животные какой-то другой породы, вовсе не лошади. Раза два он повел ушами, а потом поставил их стрелками, и сам подобрался, и встал на фоне неба, как перед фотографом.

Табунщик наглядеться не мог.

— Ах, конь! И я один раз в жизни видел такого коня.

— Такого, отец, — сказал ему Драгоманов, — можно всю жизнь прожить и ни разу не увидеть. Я вот тоже до седин дожил и насилу такого дождался.

— Нет, нет, я видел!

— Где же?

— В плену. И он пленный был. Сам рыжий, как этот вот, здесь бело...

— И здесь бело? — спросил Драгоманов, указав на правую заднюю выше бабки.

— Точно. Его откуда-то от нас гнали.

— Восточная Пруссия?

— Точно. Город Инстербург. А как они его оберегали, даром что пленный. Попоной накрыли, а мы дрожим. Специальный конвой, генерал смотреть приехал и говорил все время: «Sehr gut... Sehr gut...» И еще все время что-то говорили: «Göring... Göring...»

— Хотели его поставить в конный завод Геринга в Инстербурге, — пояснил Драгоманов. — Кажется, поставили, но куда потом он канул и было ли от него потомство, а если было, то где оно, — это, брат, вопрос не легче янтарной комнаты!

— Ты, видно, об этом коне слыхал...

— Если бы ты, дед, знал, кого ты видел!

— Я и царя видал! — обиделся табунщик.

— Ах, что царь... Помню, Миша, не наш Миша, а Громов Михаил Михайлович, летчик, но тоже наш брат, лошажник, в эскадрилье держал Диану, от Дарвина и Дикарки. Война, бои, вылеты каждый день. А он прилетит, фонарь откинёт и спрашивает: «Проела?» Кобыла корм плохо проедала: кругом стрельба, нервы, обстановка, конечно, не для чистокровной лошади. Ведь, казалось бы, смерть нависает, что тут о кобыле думать! А Миша говорил: «Самолет еще такой же сделают, а Дианы другой у меня уже не будет». Действительно, кто мог подумать, что от Дикарки, скакавшей бесцветно, получится такая прелесть! Ведь это века работы: ползком продвигалась природа, и вдруг — на тебе! — дала.

— Куда?! — вдруг панически закричал дед-табунщик и со свистом бросился догонять свой табун.

Москва встретила нас карантином. Уже за Смоленском попало нам слово «ящур». Стояли заслоны, возле которых приходилось останавливаться, вылезать и топтаться ради профилактики на известковой подстилке. Анилину все это надоело — и дорога, и остановки. Он повесил голову. Драгоманов не находил себе места. «Колики бы не начались!» — стонал он, словно его самого уже схватили колики. А за Вязьмой нас вовсе хотели остановить и высадить для проверки.

Ветврачи, санитары и милиция окружили фургон. У меня уже не хватало терпения, и я разругался с ними. «Давай, кто у вас главный», — требовал карантинный надзор.

Я ожидал, что сейчас из дверей фургона явится Драгоманов, нет, не явится, а вылетит с таким видом, как кричал он когда-то «Шашки наголо!» или «Руки вверх!». Будут знать, как привязываться.

Драгоманов вышел и сказал:

— Добрый день, товарищи!

Он не только дал себя уговорить, но даже сам охотно отправился для обсуждения всех условий в контору.

Вошли, Драгоманов опять всем сказал «здравствуйте», хотя в ответ и головы никто не поднял. Но вот Драгоманов вдруг останавливается, идет к секретарше и в два счета, как фокусник, цепляет ей на грудь наш скаковой значок. Потом два шага отступил и смотрит, что получилось. Значок простой: головка лошадиная и надпись — СССР.

— С таким значком, — сказал ветврач, — куда хочешь пустят.

— Во всяком случае, на любой ипподром в любой день, — добавил Драгоманов.

— Что же мне на ипподроме делать? — засмеялась секретарша. Но, видно, заинтересовалась, и вообще драгомановский подарок ей понравился.

— Как что? Придете к нам в день больших призов. Сколько публики! Генералы, маршалы, министры... Найдете себе жениха...

— У нее есть жених! — закричало сразу несколько голосов.

— Хорошо, — не унимался Драгоманов, — выберете себе лошадку, сделаете ставку и выиграете...

Тут уж тишина наступила мертвая.

— Как же это так? — едва слышно выговорил кто-то.

Драгоманов, видно, понял, что вожжи у него в руках. Стоя посередине

комнаты, как памятник Котовскому, он сказал стихи, которые каждый из нас знает наизусть: жокей писал.

Полны трибуны. Флаги реют.
И марш торжественно звучит,
И солнце, что ни миг, щедрее
На землю шлет свои лучи.

Потом он указал на меня:

— Рекомендую, мастер-жокей международной категории Николай Насибов! Вот он выиграл за свою жизнь призов, наверное, на миллион рублей. Не себе в карман, разумеется, а государству. У него глаз точный. Приходите, — обратился он к секретарше, которая уже была под гипнозом, — он вам подскажет верняка, на кого поставить, а я как директор уж посмотрю на это сквозь пальцы ради такого случая!

Никто уж и не вспоминал ни про бумаги, ни про карантин, ни про ящур. Взаимные обиды испарились. Драгоманов окинул взглядом комнату, всех в ней сидящих, и, кажется, встретившись с каждой парой глаз, на него устремленных, сказал:

— Всего вам доброго, товарищи!

Не то под аплодисменты мы выходили, не то на руках нас несли. Мне даже казалось, будто звучит оркестр. Таковы были торжество и восторг. Автобус наш тронулся, все махали вслед. Секретарша, выбежав на мороз неодетой, стояла позади всех, но она готова была прыгнуть с крыльца прямо к нам в фургон.

— Да, Коля, — рассуждал Драгоманов, вновь укладываясь на сено, — жизнь — дорога извилистая. Надо повернуть налево, а ты идешь как бы направо и вдруг оказываешься с левой, с нужной тебе стороны. Особенно в нашем деле... особенно в нашем конном деле...

Он устроился, задумался, а через некоторое время запел:

Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймали.
Как поймаю, зауздаю
Ше-елковой уздою...

Мелькнуло в окошке фургона слово «Москва».

Не успели мы с дороги копыта обмыть, а нас уже вызвали на совещание. Собрались конноспортивные школы, коневоды, был и министр, наш, сельскохозяйственный. Небольшой, подвижный, в жокейских формах и фанатически преданный лошадям, он сразу же увидал меня.

— Молодец, как всегда! Но все-таки чуть-чуть просидел.

Я сверкнул глазами на Драгоманова. Министр перехватил мой взгляд.

— Нет, нет, — сказал он, — успех значительный. Шутки ли, в элитную головку попал. Все газеты пишут: «Анилин и Насибов: они угрожали Морскому Орлу». Морской Орел — это, конечно, горы Гималайские, не достанешь. Пока не достанешь... А вот Динамита и Барбизонца ты вроде бы просто недоглядел.

Я не счел нужным оправдываться.

— Как он? — озабоченно спросил министр. — Корм проедает? В порядке? Мне показалось, когда я его в последний раз смотрел, что правое переднее копыто у него с легкой трещиной.

— Смазываем и делаем теплые соляные ванны, — отвечал Драгоманов. — На ночь глину кладем. Это ведь наследственное. Вся линия Золотого Руна страдала плохими копытами. У Кормильца еще ничего! Правда, на крымские грязи его было бы неплохо отправить...

— Доложите и дайте смету, — сочувственно отозвался министр.

— Василий Васильевич, давай начнем, — обратился к нему председательствующий.

В своем слове министр сказал:

— Друзья! Агитировать за лошадь в наши дни не приходится. Товарищ маршал рассказывал, что после его недавней статьи «На коня!» к нему поступает астрономическое количество писем, и все примерно такого содержания: «Мы готовы, как наши отцы и деды, нестись за Вами в бой. Но где конь?»

В углу стола устроился маленький, плотно сбитый, типичнейший конник. Много раз был чемпионом в прыжках через препятствия. Сидел на лошади, как клещ, — я и назову его Клещ, — а перейдя на тренерскую работу, точно так же вцепился в свое дело. Он распространял всюду школы верховой езды, захватил в Москве часть большого парка и питал, я знаю, наполеоновские планы по захвату ипподрома: «Превратить его в пункт проката!»

Рядом с Клещом, приземистым и не комнатным, сидел элегантный, вежливый, но с хваткой тоже нечеловеческой, тренер по выездке.

— В лошади, — говорил министр, — нужна классность.

— И массовость! — вставил Клещ.

— Одно без другого существовать не может, — отвечал министр. — Излишне объяснять, каков уровень требований к современной лошади.

Необходимо освежить кровь — такова была мысль нашего министра. Положение на мировом рынке взвинчено до крайности. Цены растут.

— Достаточно сказать, — говорил министр, — что такая классическая страна конного дела, как Англия, не может себе позволить приобретение производителей тех самых кровей, которые некогда опрометчиво были проданы за океан. Для того чтобы оставить в Италии кровь Риголетто, потребовалось постановление парламента, иначе она тоже уплыла бы за океан.

В заключение министр заявил:

— Мы думаем о приобретении за рубежом классного производителя и надеемся на поддержку спортивной общественности. Хотя, как вы сами понимаете, сумма не малая. Оборудование для целого предприятия можно купить за те же деньги.

— Вот именно! — сказали с места.

Слова попросил Клещ.

— Рано кинулся, — шепнул мне Драгоманов. — У полкруга встанет.

— Называя вещи своими именами, — сказал Клещ, — речь идет вот о чем: «Все для ипподрома!»

— Ипподром — старейшее спортивное учреждение столицы! — не выдержал Драгоманов.

— Демагогия, — тут же вставил тренер по выездке.

— Товарищи, товарищи, — успокаивал их председательствующий, — не мешайте друг другу!

Раздался телефонный звонок. Звонил наш маршал, который сам заседать с нами уже не мог.

— Вот, — рассказывал ему председательствующий, — начинается рубка ипподрома со школами верховой езды. Ладно, что шашек у них нет, а то бы...

При словах «рубка» и «шашки» маршал, наверное, что-то такое сказал, что председатель забеспокоился:

— Прошу вас, не надо! Пожалуйста, не надо!

И положил трубку с такой осторожностью, будто иначе она могла бы взорваться, как граната.

— Мы получаем отбросы со скачек, — твердил свое Клещ. — А нам нужна добронравная прогулочная полукровная лошадь!

— Без чистокровных нет и полукровных! — опять вмешался Драгоманов.

— Азбучная истина, — вставил тут же тренер по выездке и взял слово. — Конный спорт, — сказал тренер по выездке, — без лошади немислим.

Воображаю, если бы услышали нас непосвященные! Просто в газету для отдела «Ха-ха!» — «На чем следует ездить верхом — на стуле, на палочке или, может быть...» Но постойте! Никто не говорит, что можно играть в футбол без мяча и плавать без воды. Но дело в том, что для игры годится каждый мяч. И проигравший футболист едва ли станет жаловаться, что ему бутсы были не по ноге. А конник скажет: «Вот был бы у меня Анилин...» Да, всадник упражняется не на гимнастическом «коне», сидит он не на стуле, уж это точно.

А теперь разберемся, что есть Анилин.

По меньшей мере, на десять секунд чистокровный скакун по резвости впереди всех пород. Дончаки, кабардинцы, кони гор и степей, незаменимы у себя дома, но на манежном плацу да еще на мировом уровне им делать нечего, если только не прилить им известную долю скаковой крови. Каждая примесь дает секунды, секунды! Если упразднить чистокровных и скачки, то в скором времени придется в самом деле на палочке ездить.

Если бы современный спорт состоял в пробегах по пустыне, тогда арабские лошади или наши ахалтекинцы не знали бы себе равных. Тогда никакого улучшения им и не требовалось бы. Что «улучшать» идеал — для своих условий? Даже беспородных крестьянских лошадок улучшать надо с толком. Один специалист об этом говорил: «Вы хотите улучшить животное, чья конституция отличается предельной сухостью, не содержит излишков жира, вы хотите улучшить полевого работника, способного при минимальном корме сутками не вылезать из хомута, — как же „улучшить“ вы его хотите?» Но современные спортивные запросы требуют резвости, роста, одним словом, как вы слышали, класса, а уж в этом всем приходится посторониться перед чистокровной скаковой лошадью.

«Но почему, почему, — спросят, — не посадить любителей верховой езды на скаковую лошадь?» Садитесь, только где вы будете! Говорил же Клещ: добронравие, спокойствие, простота в управлении... «Аристократические» нервы не нужны. Однако вовсе без скаковой крови не обойтись: в ней тонус, залог спортивных достижений.

— Я, — говорил тренер, — не могу улицу перейти. Да, да, стоит мне

сойти с троллейбуса, чтобы направиться в манеж, как я подвергаюсь оскорблениям, к сожалению, заслуженным, со стороны энтузиастов, которые буквально осаждают сейчас конноспортивные школы. Они спрашивают: «До каких же пор? Мы хотим ездить верхом! Что же, конный спорт был и остается привилегией избранных?!» Никаких «избранных» у нас, попятно, нет, но возможности приема в школы верховой езды крайне ограничены, и само число таких школ...

— Простите, — заметил министр, — только что принято решение, обязывающее конные заводы и совхозы организовывать у себя конноспортивные секции.

— Прекрасно! Но ведь на сотысячных племенных лошадях вы новичков не посадите!

Именно! Тут с этим тренером я согласен. Обычная лошадь дороже мотоцикла, приличный спортивный конь перетянет по цене целую конюшню обычных лошадей, а скаковой крэк вроде Анилина стоит табуна. Почему? С этого я начал: лошадь стоит столько, сколько она может выиграть, а выиграть она может... Вы слышали, как Драгоманов про мой выигрыш разъяснял: цифра с большими нулями. И что министр рассказывал о том, как парламент принимал решение о лошади, об одной только лошади, — вы это тоже слышали. Это современный мировой конный рынок. А вы что думали, мы, конники, хоть в чем-нибудь от современности отстаем?

Над столом возвысился Драгоманов и достал свою книжицу, куда заносил он всякие кляузы про меня. Он положил ее раскрытой на стол, поэтому я слегка заглянул в нее: с какого же места будет он зачитывать? Заметил слова: «...делают лошадям искусственное дыхание кислородом и вливание глюкозы». Нет, не про меня. Это мы ездили осматривать тренировочный пункт в Гробуа.

— Мы ездили в Гробуа осматривать тренпункт, — начал Драгоманов, — и увидели там много интересного. Я бы сказал, поучительного. Почему я об этом говорю? Надо понять, сколько вкладывается в лошадь сил и средств, если хотят получить от нее желаемое.

— Товарищ Драгоманов, — попридержал его министр, — ваш отчет о поездке будет в министерстве. А здесь вы расскажите, какого жеребца было бы целесообразно приобрести.

— Мы смотрели жеребят-годовичков...

— При чем тут годовички? Ведете многозначительные разговоры о том, что без оборота крови в мировом масштабе конный спорт невозможен,

а когда вам задают конкретный вопрос, рассказываете про жеребят и тренпункт в Гробуа!

— По крайней мере, я думаю, что оживление старой линии Святого Симеона...

— Почему именно Святой Симеон? Где есть подходящее от него потомство? Сколько стоит?

Драгоманов несколько «пристал», что на лошадином языке значит — ход замедлил. Дыханья не хватило. А дыханье, чтобы на такой вопрос ответить, большое нужно.

— Что ж, послушаем Насибова, — произнес председательствующий.
Встал Насибов.

— Куда бы ни приезжали советские конники, — сказал я, — они несут с собой идеи...

— Коля! — снял меня со скачки министр.

Потом он нам сказал:

— Прошу вас помочь решить существенные проблемы во взаимоотношениях между коневодством и спортом. О жеребце посоветуйтесь. Сходите к Вильгельму Вильгельмовичу.

Утро. Морозит. На конюшню рано. Приятно в такие минуты вспомнить теплые скаковые дни.

Встаешь вместе с солнцем. Крадешься между женой и детьми. «Когда, наконец, квартиру дадут?» На кухне сосед-шофер греет щи. Он морщится, глядя, как я натошак глотаю сырое яйцо. Я тоже морщусь, потому что яйцо хотя и диетическое, но ведь не от своей курицы.

Шофер ест щи с мясом. Отворачиваюсь к окну, смотрю в последний поворот: мы живем у самого выхода на финишную прямую.

Вот спрашивают, что главное — лошадь или жокей? Как определить хорошую лошадь? Вы мне скажите лучше, почему так много значат случайности, прямо до дела не касающиеся? Я, например, люблю, выворачивая из поворота, входить в тень трибун. Мне трудно сказать вам, как действуют мои руки, качающие поводом, как упираются они, не скользя, в мокрую от пота шею лошади, как нога держит стремя, не чувствуя его. Висишь в воздухе. Резвость предельная, но кажется, все остановилось. Кругом какая-то замедленная съемка.

Соперники дышат сзади, сбоку. Земля летит из-под копыт, мелькающих впереди. Пятно трибуны захватило полнеба. Все видишь, все слышишь. Мне кажется, я слышу даже ропот трибун: «Насибов! Насибов вовсю поехал...» А я, напротив, беру в этот момент на себя. Трибуна: «А-ах!» Но это всего два-три темпа. Дыханье у лошади делается ровнее. Мгновенная передышка. И — прямая. Бросаешься вперед, как бросался еще мальчишкой, сидя без седла, только при этом не визжишь, как прежде. Разве что мызгнешь покрепче или сделаешь: «Э-э! А-а-а!» Один и — рядом никого! Один...

— По коням! — произносит шофер, прикончив щи. Он отправляется в гараж.

Мне тоже пора.

На конюшню я иду в обычном костюме. Живем мы от конюшни так близко, что на работу можно бы и в трусах бегать, а там уж надеть сапоги и бриджи. Но я одеваюсь как следует, а с тех пор, как у меня машина, я и езжу на конюшню иногда. Но, конечно, не пройти мне так, как идут на работу наездники. Они не идут, они следуют.

Наездник, сидящий не в седле, а в беговом экипаже, не ограничен весом в такой степени, как жокей. Наездник — другая фигура и осанка.

Руки заложивши за спину, в картузах, каких теперь нигде не купишь, едва переступают они с ноги на ногу. Спешить им совершенно некуда. Все, куда могут они стремиться, о чем они думают и говорят, все — здесь. С шага на трот (самая тихая рысь), с трота на мах (рысь порезвее), после маха — в резвую и на приз. От столба до столба, от звонка до звонка, от старта до финиша вся жизнь.

Идут они утром вдоль беговой дорожки или же прямо через круг, но смотрят, разумеется, в землю. Так, иногда, кинет взгляд из-под козырька, в руке вдруг окажется секундомер, и щелкнет он, отмечая прикидку соперника. «Доброе утро! С хорошей погодкой!» Картуз приподнят. И дальше все тем же пейсом, все той же походкой, почти на месте, будто человек не идет, а прощупывает ногами землю: вертится земной шар в самом деле или нет?

А что творится, когда он, или сам,^[5] появляется на пороге конюшни! Ничего уже, впрочем, не творится. Все замерло. Крахмальные полотенца у каждого денника. Никто ни слова. Подается камзол, хлыст. У некоторых хлысты хранятся в специальных бархатных футлярах, китового уса хлысты, и достают их только по большим праздникам. «Качалку!» Качалочка пружинистая. Подушка пристегивается на сиденье. Ах, пыль чуточку на подушку села! И скорее смахивается пыль. Самого подушка-то!

Ничего не говорится при всем при этом, не приказывается, не указывается, а все только угадывается по едва заметному движению головы или бровей. Проверяется секундомер.

Крахмальные полотенца кругом. Тишина. То ли рысака запрягают, то ли операцию на сердце делают.

— Пускай! — едва слышно произносит сам.

Но это вдруг прозвучавшее слово вовсе не значит, что в самом деле пора «пускать». Надо быть только готовым пустить, когда сам сядет на качалку. Как он садится! Как морщится, кряхтит, будто и садиться не хочет. Будто все это проделывает и даже видит впервые в жизни! Он с опаской посматривает на колеса, словно они сейчас отвалятся.

Выезд совершился. Все — конюхи, помощники, кузнец — стоят на пороге, провожая взором самого. А он все посматривает вниз, на колеса.

На дорожку сам выезжает так же, как двигался он на конюшню: с ноги на ногу, едва-едва переступает лошадь. Пока не прозвучал звонок старта, все только и стоят наготове, чтобы броситься в любую минуту и помочь самому. Что-нибудь поправить, изменить.

Звонок! И никто уже больше помочь самому ничем не может. Он остается совершенно один на две минуты перед гудящей толпой, чтобы

совершить все то, ради чего и творилось изо дня в день священнодействие вокруг коня.

Едут! Полкруга прошли. Слышно, как сам визжит. Имеет он обыкновение не кричать «Э-э!», и не мызгает он губами, он визжит. Руки вместе с вожжами и хлыстом подняты, будто человек хочет крикнуть от удивления «А-ах!». Лицо искажено гримасой, делающей лицо детским, словно сам сейчас расплечется, если соперники не пропустят его к столбу первым. Он и правда готов, кажется, закричать «Уа! Уа! Уа!». Сам визжит. Ровно, пронзительно — слышно даже сквозь стук множества копыт:

— И-и-и!

— Тпру! — кричит другой наездник, другой «сам».

Так уж приезжены у него лошади — наоборот. Расчет простой: услышав «тпру», лошади-соперники, может быть, замедлят ход, а у него лошадь хорошо знает — «Тпру!», значит, бросайся что есть силы вперед!

Звонок. Кончено. Опять с ноги на ногу. Все опять в тишине. В священнодействии. Ритуально. Пена соскребается с дымящихся боков. Глоток, только один глоток теплой воды. Попона. Сбруя протирается вазелином и накрывается до следующего раза крахмальным полотенцем. Сам переоделся. Хлыст положен обратно в бархатный футляр. И все так же, прощупывая ногами вращение земли, идет он в остывающем от страстей воздухе домой...

Теперь, конечно, многие с ипподрома получили новые квартиры (многих и в живых уже нет), и можно увидеть наездника, который торопливо, как всякий, в брючках, спешит утром на работу или с работы. Но я, когда приехал в Москву, еще застал «мамонтов», которые никуда не спешили, просто потому что не покидали вообще пределов ипподрома. Они не знали ни воскресений, ни праздников, они считали лишним всякий разговор, касающийся чего-либо дальше Беговой аллеи, Беговой улицы или Скакового поля. Говорят, даже цыгане, которые обычно тянулись из Яра, окончив свой труд в тот час, когда наездники двигались на конюшню, даже цыгане примолкали, если видели, что навстречу им шествует кто-либо из первых призовых мастеров. Маг идет, волшебник! Таков был взгляд на человека, который один только способен, взявшись за вожжи, произвести чудеса с лошадью.

Тип этот почти вымер. Я не хочу сказать — ездить стали хуже! Любят спорить: прежде — теперь... Об этом я еще скажу свое слово. Но такой ездок-маэстро попадается теперь редко. Живет он на новом месте, среди города, и черты, прежде так его отличавшие, невольно стали стираться.

Наш ипподром — целая конная вселенная: и рысачники, и скаковики,

и спортсмены. Только дорожки у всех разные и часы тренировок чередуются.

Мы, верховики, поднимаемся первыми.

Хорошо на ипподроме рано утром! Слышны птицы. К середине дня город, хотя он и скрыт от нас забором, уже заглушает все, и живой голос остается лишь за конюшнями, у навозниц, где копошатся воробьи. Но утром и травой еще пахнет. Дорожка дымится. Кое-кто уже шагает лошадой.^[6] Это те лошади, что вчера выполнили свой долг, скакали на приз, и делают им сегодня легкий променад.

Обычно лошади выходят утром из конюшни, как на пружинках. Их щекочет прохладный утренний воздух. Они отфыркиваются, оглядываются по сторонам, косятся на знакомые предметы, будто не узнают и побаиваются все тех же ворот. На самом деле они просто ищут повода для баловства. Фр-ррр! — воробей взлетел. Фр-ррр! — вздуваются ноздри, и следует за тем скачок в сторону такой, что в седле только держись. «Воробья, что ли, в жизни не видела? Я т-тебе!» Шевельнет ушами в ответ, как бы говоря: «Ладно, ладно уж»...

Но лошади скакавшие идут, конечно, спокойно без фокусов. Не до того им. Нервы еще не пришли в норму. Еще свежи переживания вчерашнего. Они идут медленно, опустив голову, словно припоминая подробности прошедших скачек. Сидят на этих лошадях конмальчики.^[7] Стремена у них уж до того подтянуты, что колени разве подбородка не касаются. Шик. Мастера. Или же, напротив, стремяна вовсе брошены, ноги болтаются, руки болтаются, и язык, конечно, покоя не знает.

Тоже переживают вчерашнее.

— А он как принял и обманул всех пейсом! — и тут же все это изображается.

Показывают меня. Увидав меня, они проглатывают языки.

— С хорошей погодкой! — говорю я, даже слегка помахав им рукой.

Они и ответить не могут. Я уже далеко от них, когда они оживают и ветер до меня доносит: «Не скачка, а простая прогулка для такого крэка».^[8]

На пороге конюшни встречает меня старшой, старший конюх, наблюдающий за работой и порядком.

— Шагать я отправил, — говорит он.

— На галоп готовы? Кто галопируется? — спрашиваю я.

А сам иду вдоль денников по коридору и посматриваю на лошадей. Некоторые еще не проснулись. Некоторые забавляются остатками овса, заданного и съеденного часа два тому назад. А вот овес остался не тронут.

— Опять не проела?

Старшой вздыхает. Кобыла понурясь стоит головой в угол.

— Доктор был?

— Нет еще.

Ранжир в порядке. Услыхав мой голос, он подает свой: лошадь узнает человека в первую очередь по голосу, а потом — по запаху. Хорошо, что он ржет, когда слышит меня, а то, бывает, услышит конь голос всадника и, приложив уши к голове, кидается со злобой на решетку. Фламандец готов от избытка энергии на стену залезть. В порядке!

— Седлайте мне Фламандца, — говорю (в первую очередь отрабатывают лошадей, стоящих ближе к двери, чтобы они успокоились и, видя других выезжающими на дорожку, не нервничали).

Сам прохожу в жокейскую.

Здесь пахнет кожей, дегтем, стоят наши кубки, наклеены фотографии былых побед. А кто-то принес и повесил плакат «Подписывайтесь на газеты и журналы!» — с женщиной с газетой в руках. Здесь, сказал я, это не годится. Говорят, женщина хороша, из-за нее повесили. Женщина протягивает «Комсомольскую правду». Формы у женщины, я бы сказал, заводские. Не призовой выдержки. Что ж, на чей вкус. Жокеи щуплый народец, тянет их к великанскому! Пускай висит.

Ради экономии веса жокеям приходится скакать и без белья. Нет, я кальсоны еще могу себе позволить. Надеваю, впрочем, их только потому, что потер седлом ногу. Эти мальчишки, сколько им ни говори, после работы снаряжение плохо смазывают. Ремень затвердел от конского пота и покарябал мастеру ногу. Вот и парься теперь в кальсонах. На рабочую езду я всегда надеваю свою старую летную куртку.

Летчиком я не был, но когда служил в армии, то попал в авиацию. Среди летчиков много поклонников лошадей. Мне тоже встречались любители стра-ашные! Почему это так, не могу вам сказать. Некоторые говорят, что первые наши аэродромы ютились на ипподромах, и вот с тех пор чувствуют пилоты свойскую привязанность к лошадям. Когда меня определили в авиацию, я тосковал по лошадям и мечтал попасть к Громову, однако наш генерал с ним не ладил. Генерал наш был молод и хотел, должно быть, стать Громовым-вторым. Впрочем, история это длинная и прямо лошадей не касается.

Я готов сесть в седло. В это время раздается шум, треск и женский крик: «Отойди!» Это пришел доктор. Вскоре он возникает в жокейской, заглушая запах дегтя парами лечебницы. «Как сухожилия?» — кричит он, хватая меня за ногу. Я пытаюсь вырваться, он кричит: «Сто-оять!» Так, что

в ближайшем деннике шарахается лошадь.

— Бросьте ваши коновальские замашки, — говорю я доктору.

Идем с ним смотреть загрузившую кобылу. Доктор щупает ей пульс — под нижней челюстью, где артерия проходит в виде шнурка. Смотрит на часы. Тридцать пять ударов. Норма!

Доктор закатывает обшлага и сует ей руку в рот, вытаскивает зажатый в кулаке язык и смотрит внутрь. «Насосов нет». Насосы — это волдыри, которые лошадь натирает себе слишком сухим овсом. Тогда она бросает есть — больно. Убедившись, что не в насосах дело, доктор приникает лошади к брюху. Мы сами перестаем дышать, словно врач нам велел: «Не дышите!»

— Перистальтика в норме, — говорит доктор и двигается дальше.

И вдруг хохочет, пугая лошадь.

— С другого конца осмотр надо было начинать! — кричит он, усвоив дурную привычку говорить с людьми как с лошадьми. — У нее ж охота! В охоту кобыла пришла! Через несколько дней будет в норме.

Он выходит из денника, ущипнув кобылу за кожицу возле задней ноги, и лошадь взвизгивает просто по-человечьи. А доктор ржет.

— Йод с водкой^[9] весь вышел, доктор, — говорит старшой.

— Пропишу.

В лошадиных дозах доктор выписывает лекарства и покидает нашу конюшню. Он исчезает в глубине конюшенного коридора, и где-то у ворот нашей конюшни слышен крик.

— Кто кричит? — спрашиваю у старшого.

— Калека, — отвечает он.

Что за «калека»? Тут же вспоминаю: коллега! «Моя коллега», говорит доктор, называя так практикантку из Ветеринарной академии. Она пишет дипломную работу «Овес и проблемы кормления лошадей». Она производит у нас на конюшне опыты, из которых ясно выходит, что свежий овес лошади поедают охотнее, чем старый. Что ядреным овсом лошади насыщаются скорее и лучше, чем трухой, пустым овсом. Поздно ночью засиживается девушка на конюшне, ожидая, когда после вечерней кормежки лошади дадут ей зерна на анализ.

Пальцами левой руки забираю повод, правой берусь за седло. Стою лицом к лошади. Левую ногу согнул в колене. Старшой берет меня за сапог. Мы с ним делаем разом легкое усилие — толчок! Насибов в седле. Хотя конюшни новые и потолок в них высок (а зимой до чего с таким потолком холодно!), я по привычке слегка нагибаю голову, опасаясь притолоки. Выезжаю из конюшни. У ворот практикантка разложила свои колбочки и

рассматривает их на свет. «Науке почет!» Солнце уже чувствуется.

Над скаковым знакомым кругом
Цепочкой облака парят...

Цепочками, замкнутыми и растянутыми, движутся по всему пространству лошади. Круг ожил. Иные уже потные и закиданные грязью возвращаются на конюшню. Я жду, когда соберутся вокруг меня мои мальчишки, и говорю им:

— Гугенот и Экспресс галопом до полкруга, полкруга шаг, потом рысь и еще полкруга галопом. Пошел!

Ребята сразу разбирают поводья, поднимаются на стременах и, пригнувшись, принимают с места. Я замечаю, как стараются они подражать моей посадке.

— Насибова повторить можно, — говорю я. — Но в каком смысле? Сесть в седло так же? Так же разобрать повод? Этого мало. Пейс надо понимать! Пейс! На Лезгинке пошел галопом, последнюю сделаешь в тридцать с половиной.

Секундомера, хотя теперь я и тренер, по-прежнему не держу. Часы у меня в голове. Секунда, полсекунды, даже четверть секунды — это же все по пейсу сразу чувствуется.

Сам я делаю Фламандцу рысь и легкую размахку. Он ложится на повод, тянет, просит хода. «Успеешь!» Прикидчик, которому положено следить за резвыми работами, уже поблескивает в судейской ложе своим биноклем. Раскланиваемся. Сзади раздается топот, и на полном ходу, вижу, летит Драгоманов. Ежедневная его гимнастика. Сидит, разумеется, прямо, на длинных стременах, по-кавалерийски. Под ним, конечно, рыжий, конечно, дончак. Повод Драгоманов держит одной рукой, а другая опущена вдоль тела. Когда-то он так подлетал и докладывал: «Товарищ маршал...»

— В атаку! — кричу я ему.

— В баню идешь? — кричит он в ответ.

— Нет, — отвечаю, — я в норме.

Драгоманов же не пропускает в его годы ни одного банного дня и даже бьет в парной на голову иных жокеев.

Поднимаю своего жеребца в галоп. Мне говорят, что для жокея я сижу чересчур глубоко, на слишком длинных стременах. По современным стандартам, говорят, нужно выше сидеть, короче. У меня свое мнение. Знаю я наших лошадей. На них ехать нужно. Везти их на себе нужно всю

дистанцию. Мы так долго культивировали в своих скакунах выносливость, что забыли скаковую классность. Когда я впервые скакал на Западе, меня даже спрашивали: «Это у вас в самом деле чистокровные?»

Пройдя галопом круг, дружелюбно хлопаю жеребца пару раз ладонью по шее и бросаю повод. Он сразу переходит в рысь и — шагом.

Во всяком деле требуется необъяснимое — чутье и руки. Голову тоже надо иметь. У бегового наездника голова занята ходом лошади; только бы не сделала сбой, только бы с рыси не перешла в галоп... А жокей-скаковик поглощен пейсом: сейчас броситься или выдержать? Для этого нужно видеть всю дорожку. Глаза для этого, знаете, где надо иметь? Кто впереди, кто сзади? Сколько классных скакунов проигрывали на последних метрах! А почему? Жокей забывал оглянуться.

Солнце поднялось еще выше. Заканчиваю езду.

Отдаю Фламандца у конюшни мальчикам и отправляюсь на местком. Сегодня у нас разбор дела «О злостном насилии над лошадьёю». Не пошла лошадь из конюшни, а он, этот парень, давай ее полосовать. Ударил бы хлыстом, как полагается. Хлыст — смычок в руках жокея; владеющие в самом деле хлыстом — это все равно что виртуозы среди тех, кто всего лишь пиликает на скрипке. Переложив поводья в одну руку, вы свободно и резко выбрасываете другую, в которой хлыст, и... Если бить, то вообще сильно. Иначе лошадь подумает, что вы ее щекочете, иначе она не поймет вас. Но бить надо исключительно по крупу или по боку между третьим и вторым ребром. Это безвредно, а главное, от удара по задней части туловища лошадь подается вперед. А по груди зачем бить? Или по голове? Изуверство. И лошадь не знает, куда ей от этих ударов деваться, чего вообще от нее хотят!

На месткоме говорю свое слово. «Куда бы ни приезжали советские конники, — говорю я, — везде они служат примером гуманности». Парень в слезы. Решено: на первый раз простить.

Приближается время обеда, и охватывает меня печаль. Куски жареного мяса представляются, картошечка, огурчики... Пью полстакана чая и съедаю котлетку.

Некоторые жокеи, даже имеющие проблему веса, не считаются с ней и едят как им вздумается, надеясь поправить дело в парной. Это пока сердце позволяет...

Бедняга Жора!^[10] Всегда он у меня перед глазами, когда думаю я о еде. Среди молодых ездоков он был первым, когда я появился в Москве. Был он восходящей звездой. Терзал он свой организм, наедаясь всякий раз как следует и сбрасывая за одну баню по несколько килограммов веса.

Поднялась моя звезда. Тогда я был еще в спорте и скакал барьерные скачки.

Человек с конного завода, я, придя в армию, естественно, взялся за конный спорт. Это напоминало мне родные края, которые прежде я почти не покидал, и, конечно, поначалу сильно брала меня тоска. Мне не хватало гор, нашего воздуха, и, когда после строевых занятий попадал я на конюшню, становилось мне легче, чувствовал я себя «дома». Вообще в конном спорте, я заметил, случайных людей мало, а если такие и переступают порог манежа и конюшни, то — не задерживаются. Совсем не того они ждали! Им становится скучно. Ну когда же, когда будет это — «несется конь мечты моей»? А «конь мечты» жалуется на левую переднюю, и, прежде чем сесть на него, нужно ему ставить теплые попоны и часами массировать ноги.

Если человек на коньках или на лыжах катается, вы же не станете его спрашивать: «Почему?» Но если он верхом ездит, вы это сразу спросите. В том-то и дело! Не просто спорт. Я свою землю вспоминал, садясь в седло. Может быть, и все люди не расстаются до сих пор с лошадьёю во имя дорогих воспоминаний? Должен же человек сам себя от начала и до конца помнить, чтобы человеком быть. Конный спорт или охота — это напоминает, напоминает... Совсем далекое и далекое-близкое. Англичанин, садясь в седло, тут же воображает себя Ричардом Львиное Сердце, где-нибудь в пятидесятом порядке памяти да промелькнет у него эта мысль. Мы — не англичане, и того же сословного значения конный спорт у нас не имеет. Но исторически и у нас стук копыт отзывается в памяти. От заставы богатырской — к краснозвездным всадникам, отстоявшим нашу Родину. В памяти моего поколения летит на коне Чапаев, хотя бы и с экрана, а если взять Драгоманова, то что говорить: ему вся страна на рыси видится.

Едут да по полю герои,
Эх, Красной Армии герои...

Что делается с ним, когда произносит он слова:

Девушки плачут.
Девушкам сегодня грустно...

Не в девушках дело, а мыслится ему, что у каждого на душе должно щемить при одной только мысли о цокоте копыт. Ушедшая, но не

затерянная в памяти юность страны, она ведь в седле, на коне пронеслась.

Помню, мы с ним, с Драгомановым, поехали по заводам, в Сальские степи, ехали со сто пятого завода на тридцать второй большаком на пролетке. И вот памятник Тачанке. Мы-то, конники, смотрим на эту скульптуру своим взглядом.

— А можешь себе представить, — заговорил Драгоманов, — как я на это смотрю, если сам так сидел и за вожжи держался?

Когда поравнялись мы со скульптурой, один из наших коней даже заржал, заупрямился и капризно ударил в землю копытом.

— Натурально сделано, — подтвердил его мнение Драгоманов — и нахмурился: — Видишь, металл, памятник, история! Молодость моя уже история. Мне-то все кажется, будто жизнь впереди, а меня в один музей с Дмитрием Донским. В бронзу, а у меня еще кровь по жилам бежит...

Подумал я тогда, глядя на него: «Тебя если из седла тащить, то, пожалуй, туловище оторвешь, а ноги так и останутся в стременах».

Глубокая посадка. И с ковбоями я о том же спорил. Они ведь нас, спортсменов-конников, за своих не признают. Не-ет! А вы как думали? Показывают памятник. Вот, говорят, всадник нашей истории.^[11] Что ж, стремяна отпущены на всю ногу, посадка ковбойская. Объясняют: он скакал всю ночь, и с той ночи Америка осознала себя Америкой. Ясно, ночь напролет не поскачешь «по-обезьяньему», скорчившись и привстав на стременах, как едем мы, жокеи. Но речь ведь идет не только о посадке в седле. Позиция в жизни. Ковбой считают: «Плох тот, кто неглубоко сидит». А как сидят наши казаки? Как вообще весь Кавказ в седле держится? Или азиатские степи. Вросли в седло. Бывалые кавалеристы рассказывают, что они на походе так и спали в седле. Спали, ели, словом, жили, не слезая с лошади и не отходя от конюшни ни на шаг. Тут и вырабатывались глубокие иппические натуры. Эти люди говорили: «Мир галопа — волшебный мир». Они говорили: «Всю жизнь — на благо лошадей». Фанатики, философы и — мастера. Ими столько сделано, столько вложено в лошадь души, что и нам еще надолго хватит.

Почему наши армейцы выиграли Приз наций? Почему мы — европейские чемпионы по троеборью? Почему мировое первенство по выездке у нас? Почему я трижды выигрывал Приз Европы, да и по другую сторону Атлантики кое-кого заставлял глотать мою пыль? «Сенсация!» — писали газеты, когда Лиллов с Фаворским брали барьеры в Париже или когда Филатов поднимался на пьедестал в Риме, а Петушкова блистала в Аахене. Не такая уж сенсация...

Почему, когда у причала Грейвз-Энд высадился наш мастер-наездник

Ратомский, то англичане, нация конников, уже через пять минут (я — свидетель) не называли: его иначе как маэстро? А ведь от причала до призовой дорожки еще далеко.

Вот почему.

Пришвартовались. Ждем выгрузки. Вдруг англичане привели своих лошадей на погрузку. Приехали автобусом (мы тогда о таком автобусе еще и не мечтали). На автобусе написано: «Лошади лорда Дерби». Естественно, подошли поинтересоваться. Слово за словом, разговорились, как обычно говорят между собой конники, — о лошадях. Что за жеребята, от кого происходят?

— Вот этот, — говорит конюх-англичанин, — от самого Наполеона, а Наполеон от этого... как его...

— От Назруллы, — вставил тут Ратомский.

— Oh, yes, — конюх подтвердил и продолжал: — Есть у нас дети Гипериона, а Гиперион от Сикамбра.

— Нет, — говорит Ратомский, — Сикамбр от Гипериона! Ведь ваш хозяин крестил потомство Пор-Фавора с линией Эмбарго через Гипериона и Скажи-Смерти-Нет, приходящегося полубратом Мифологии, дочери Эмбарго.

Конюх сказал только:

— Oh!

А когда они погрузку закончили, подошел к нам, других привел, и попрощались они:

— Руку, маэстро!

Почему так получилось? Потому что Ратомский — не вчера родился, он сын Ратомского, внук Ратомского, наследник опыта, копившегося сто лет.

Такой тренерской культуры, как в конном деле, не имел у нас ни один спорт. Другие виды спорта только развивались, некоторые и родиться еще не успели, а конники — это была уже сложившаяся среда: более века с рук на руки передавались вожжи.

— Как сидишь? Ты как сидишь, я тебя спрашиваю? Ноги у тебя или макароны?

Это сам Брусилов, когда кавалерийской школой командовал, в середине манежа стоял и покрикивал. И помнил этот крик Бовкун, а Бовкун учил Ситько.^[12] Ситько — Филатова... Брусилов приходил в полк и спрашивал у вахмистра: «Ну, есть всадники?» — «Никак нет, пока что незаметно». А перед ним целый полк, прошедший школу, обученный приемам верховой езды. Но приемы — это мало! Знаток спрашивал, есть ли

всадники в высшем смысле, есть ли конники по натуре и по призванию, люди с головой и с душой, а главное, с руками конников, те, которые знают и могут больше того, чему научить можно.

Конечно, не помню я прежнего ипподрома, как Драгоманов, но со своей стороны и я могу нынешним конникам сказать, что не помнят они того ипподрома, какой я застал, когда после войны прибыл в Москву. Конечно, уже не простирались конюшни до Башиловки, в Петровско-Разумовский парк резвить не ездили, на Фили купать не водили (а возили в грузовике в Тушино). Однако ипподром был все же как целый город. С Ходынского поля ветер доносил рев авиационных моторов. Лошади вздрагивали при этом реве.

Один раз утром самолет-гигант, идя на посадку, так напугал лошадей, бывших в тот момент на дорожке, что разбросало нас, как ураганом, по закоулкам и переулкам. Удержать ошалевших лошадей не было возможности. И меня самого жеребец утащил на откос чуть не к вокзалу. Под откосом паровозы свистят. Жеребец, бедный, просто окаменел и уж не знал, где спасать свою жизнь.

Удивительную штуку выкинул тогда конь Дорогой. Кличка у него была, собственно, Дарлинг, но как-то пришел наш старшой из магазина и говорит: французских булок больше нет, называются они теперь городскими. И наш Дарлинг стал тогда Дорогим.

Так этот Дорогой, он же Дарлинг, не бросился куда-нибудь сломя голову, а сел, просто сел посреди скакового круга. Сел на задние ноги, а передние между ними поставил. Как собака. Сел и сидит. Конмальчик, еле на нем дернувшийся, оторопел.

С лошастью все бывает. Среди лошадей и людоеды встречаются: лошади, способные кинуться на человека. Вообще конь человека никогда не тронет. Много нужно бесчеловечия, чтобы озлобить лошадь до такой ненависти к человеку. Большой же частью все лошадиные причуды происходят не от злобы, а от робости. А робость — от близорукости. Из всех чувств у лошади на последнем месте зрение. Лошадь хорошо слышит, прекрасно чувствует, но видит плохо. Глаза ей портит полумрак конюшни. Лошадь легко обманывается и даже знакомый предмет может принять за чудовище. Тень на дорожке ей представляется пропастью. Один табунщик мне говорил, что мы в лошадиных глазах выглядим великанами и ходим вверх ногами. «Иначе, — говорил он, — стали бы они нас терпеть!» Уж этого я не знаю, в лошадиной шкуре я все-таки не был...

Уселся Дорогой по-собачьему и напугал мальчишку до последней степени. Больше даже напугал его, чем если бы стал свечить, то есть

вставать на дыбы, или же козлить — прыгать вверх, брыкаясь задними ногами. Нет, Дорогой сел и сидит. «Свихнулся конь», — решил мальчишка, сполз с седла и бежать. А Дорогой тут же вскочил, чувствуя свободу, и начал за другими лошадьми гоняться. Пережили мы тогда денек авиации! Катавасия...

Катавасия — такая кличка тоже встречается. У нас кобыла есть — сама рыжая, во лбу звезда. Каких только не попадалось кличек! Из-Под-Топота-Копыт-Пыль-По-Полю-Летит. Уж ругались, ругались на ипподроме, — кто это выговорит? А что поделаешь? С таким аттестатом конь из завода прибыл. Родословная, документация! Эволюция... Девальвация... За каждой кличкой судьба!

Ветер доносил рев моторов, а на ипподроме тот же ветер шевелил травой, сеном. Улицы из одних конюшен. Да, мир был самовитый. Однако за пределами конного мира мало кто слышал тогда о лошадях, да и слышать не очень хотел. «Как, — с удивлением спрашивали, — разве лошади еще существуют?!» Не снились тогда конникам ни первые полосы газет, ни праздничные кавалькады, ни цилиндры, ни фраки, ни рединготы (костюмы для верховой езды). А вокруг старого манежа на Коулгином дворе ходили, облизываясь, волейболисты, баскетболисты, всякие атлеты и по-своему мечтали: «Скоро, скоро этих кляч отсюда попросят!» Но мы выстояли.

Вот тогда я и скакал скачки с барьерами. На рыжем жеребце Галопе я стал угрожать чемпионам. Жора был не в форме. Лишних в нем было килограммов восемь. Готовясь к решительной схватке, он пропал на несколько дней, чтобы сбросить вес.

Как сейчас помню, шел я седлать и вдруг слышу: «Помоги мне». Я оглянулся. Еле держась на ногах, к забору прислонился Жора. «Что с тобой?» — «Голова... Голова кружится...» Был слаб, как ребенок. «Как же ты собираешься скакать?» — «Я побью тебя». И попросил довести его до конюшни. Тут случайно Саввич оказался рядом (он подтвердит) и еще, кажется, Петя Гречкин,^[13] взяли мы Жору под руки и повели.

На лошадь мы его посадили с трудом. Радамес, гнедой, на котором он ехал, был много класснее других лошадей, но я обыграл его — ездой. Стоит заглянуть мне в старые спортивные отчеты, как между строк слышу я и свой посыл, и шум трибун.

«В розыгрыше барьерной скачки на дистанцию 2000 метров участвовали 14 всадников, представлявших все команды. Скачку выиграл спортсмен второй команды Советской Армии мастер спорта Насибов на жеребце Галоп, рожд. 1946 г. (Пресс-Ганг — Гюрза) с резвостью 2 мин.

13 сек.».

Четыре строки, да и дела-то всего было на две минуты, — посторонний здесь немного прочтет. Но для меня не то что строка, но запятая, как и доля секунды в той скачке, была целой жизнью. Секунды не мелькали — они начинались и кончались, умещающая множество мыслей, страстей, усилий.

Галоп! От Гюрзы и Пресс-Ганга. Ему было тогда пять лет. Поступил он к нам совершенно безногим. Держались на замораживающих уколах. Но действовала не только медицина, не одни уколы. А сердце лошадиное! Вот что значит это природное благородство темперамента, любовь к резвым аллюрам, свойственная кровной лошади. Боец по наследству, спортсменом в душе был Галоп!

В той скачке я держался, конечно, по Радамесу. У полкруга стало видно, что хотя Радамес еще свеж, но Жора уже кончился и был балластом для лошади. Я выслал Галопа вперед — только голосом. Лошадь слышит, как я уже сказал, прекрасно, тем более на скаковой посадке голова всадника находится почти вровень с ухом лошади: стоит ей шепнуть, как она принимает посыл! Ясно, не следует кричать так, чтобы от вашего посыла другие лошади шарахались.

На финишной прямой я был уже один и рядом никого: никто не мог взять Галопа, и я выиграл первенство страны.

А Жору с лошади снимали.

Нет уж, я предпочитаю ежедневную выдержку. На пенсию пойду, тогда и закусим.

Чтобы отвлечься от голода, я иду до скачки в кино и смотрю подряд два сеанса. На втором сеансе кто-то трогает за плечо. «В чем дело?» — «Конец». Оказывается, я слегка заснул.

Пора обратно на конюшню. Надо проверить лошадей, которые сегодня скажут. Иду через опустевший круг. Конюшня тиха. Корм проели. Вдыхает кто-то. Лучи солнца перекрестили коридор. В лучах пляшет пыль. Порядок. Я в этой тишине прислушиваюсь, не слышно ли «прикуски»? Это вредная такая привычка встречается у лошадей: глотать воздух. Занимаются они этим от безделья и даже заражают дурным примером других, а это вредно. Худеет лошадь, начинает нервничать. Но вместо характерного, хлопающего, звука «прикуски» — «Николай!» — слышу вдруг голос словно с неба.

Стоит он за навозницей, издавший этот едва различимый возглас. На нем какое-то пальто, хотя и жара. Ему все равно, жарко или холодно, лето или зима, ночь или день. Один, как у волка, горит огонь в его глазах.

«Николай!» — и протягивает сегодняшнюю программу.

— Я же сказал, чтобы духу твоего больше здесь не было!

— Одну лошадку, — и дрожащая рука с программой.

Рука дрожит мелко, едва заметной дрожью, как студень.

— Я же сказал...

— Лошадку! Одну лошадку! В последний раз... Расплачусь и брошу!

Не касаясь программы, которую он у меня перед глазами перелистывает своей дрожащей рукой, говорю:

— В третьей скачке выиграю я. В пятой мой мальчик.

И, не оглядываясь, иду на конюшню.

— Николай!

Не оглядываюсь.

— Николай!

— Что еще?

Глаза у него слезятся.

— Скажи мальчику, пусть придержит.

Хлопаю дверью так, что воробьи взлетают с навозницы.

Близость скачек чувствуется в воздухе. Прежде всего об этом догадываются лошади. Они знают об этом с утра. Они угадывают даже, кому скакать. Угадывают по малым порциям корма. Кому достались спартанские подачки, те начинают нервничать. Одни требуют еще, другие же вовсе отказываются есть. Навоз у них делается жидкий и вонючий.

Существует масса признаков призового дня. Электризуется самый воздух.

Полны трибуны. Флаги реют.

И марш торжественно звучит...

У меня перед скачкой начинается ровный и непрерывный подсос. Не боль, не привкус, а тяжесть, легкая тяжесть, лежащая, как камешек, на полпути от сердца к желудку. А до чего переживают каждую скачку некоторые, даже бывалые ездоки! И так всю жизнь, всю жизнь, как капитаны, те, что страдают морской болезнью.

У меня проще, но и я не железный. Впрочем, все проходит перед самой скачкой. Ты становишься кем-то другим, на кого ты сам смотришь со стороны.

Влияет взгляд публики. Садишься в седло и едешь вдоль трибун, а щека, обращенная к публике, горит.

На проминке перед скачкой, чтобы открыть лошади дыханье, делаю размахку, очень легкую. Лошадь подо мной пылкая, и разогреть ее особенно не требуется.

Собираемся к старту. Восемь лошадей. Я слежу за четвертым, который мне не то чтобы опасен, но который, я знаю, не прочь выиграть. У меня седьмой, с поля. Помощник стартера тянет следом за собой через дорожку резиновый канат.

Четвертый нервничает, бросается вперед раньше времени, но резина не пускает его. А я, напротив, спокойно жду, пока все выравняются. Стартер с вышки кричит в рупор металлическим голосом. Ну, вот, мы идем. Стартер, растопырив руки и как бы желая схватить нас всех с криком «Куда же вы? Стойте!» — стартер выкатывает глаза и что есть сил кричит:

— Пошел!!!

Резинка щелкает, открывая путь, а сзади, кроме того, щелкает бич в руках у второго помощника стартера. Издалека доносится колокол. Пошли...

Четвертый решил вести скачку. Бросился он поперек дорожки и занял бровку. Пусть его! Дорога впереди длинная.

Я устроился следом за лошадьми. Справа меня прикрывает Костя, скакун старый. Он меня спрашивает:

— В бане был?

— Нет, а ты?

— И я не пошел. А пар, говорят, был в порядке!

— Какие у тебя шансы? — киваю головой на его вороненького жеребенка.

— После тысячи метров встает, подлец! — отвечает Костя.

— Пробные галопы надо ему длиннее делать. Значит, дыханья у него не хватает.

— Вся линия у них такая, — отзывается Костя. — Скакал я на его матери и на бабке скакал... Все вставали! Фляйеры, — говорит он и прибавляет еще несколько слов. Фляйеры же означает лошадей пылких, быстрых, но лишенных выносливости.

Выходим из поворота и приближаемся к половине дистанции.

— Пусти меня, Костя, — говорю я сопернику, — я поеду.

— Давай.

Он берет чуть вправо, я же качаю поводьями и равняюсь с лошадьёю, шедшей впереди.

— Что так рано поехал? — спрашивает меня сидящий на ней ездок.

— Надоело пыль твою глотать, — отвечаю.

— Хлеб у маленьких отбиваешь.

— А тебе что, скачка нужна?

— Нет, поезжай.

Впереди заколдованное место, то самое, где лошади после тренировки съезжают с круга. Тут они, какая бы ни была скачка, сами, словно ямщицкие лошади возле трактира, стихают. Думают: «Вдруг домой!» Поэтому показываю хлыст. Только показываю. Конь прижимает уши. Понял. У этого же места всегда смотрят скачку конюхи. Люблю им крикнуть что-нибудь юмористическое. Но что-то в голову сейчас ничего не приходит. Кричу: «Караул!» — и успеваю услышать, как хохочут. Но смех быстро остается далеко позади. Пейс все-таки приличный.

Но вот я не шутя подымаю хлыст.

— Проснись, милый!

Четвертый номер все еще впереди. Ошибся он. Думал, я буду с ним резаться на силу, а я поехал на бросок. Насибова не поймал. Насибов эту скачку выиграл прежде, чем ты со старта принял.

Оставив поводья в одной руке, я мерно опускаю хлыст два раза, но — не бью. Насибов не бьет. Насибов обозначает удар, толкая при этом коня в такт и рукой, и ногами. Лошадь как бы уходит из-под меня. Значит, ответила на посыл.

Последний поворот. Я у четвертого в седелке. Сколько он делает лишних движений — слежу я за жокеем, старающимся справиться со мной и удержать первенство. Что делает он руками, ногами! Болтается корпусом из стороны в сторону. Так в ночное хорошо ехать, а не в классических призах скакать. Только лошади мешает. Сила жокейства в слитности с лошастью. Один организм.

Еще качаю поводом и опять подымаю хлыст. Но опускать его уже не приходится. Звонок. Четвертый финишировал у меня в седелке.

Мальчик принимает у меня лошадь. А я с седлом в руках иду на весы. 59!

«Третью скачку выиграл номер седьмой, — слышно радио. — Аспарагус, скакавший под жокеем международной категории Насибовым. Резвость скачки...»

Этого я и не слушаю. Сам знаю. Иду переодеться. Снимаю свой фиолетовый камзол, рукава желтые, и васильковый картуз. Со скачкой тем временем чередуется заезд рысаков, четвертый, и я выхожу из раздевалки как раз к пятой скачке. Мой мальчик готовится. Подтягивает подпруги. Я подхожу подкинуть его в седло и, когда он берет стремя, между прочим, говорю ему:

— Возьмешь в повороте на себя.

Не отвечая мне, он становится с лошадыю на свое место.

Интересно, кого же эти проходимцы решили первым выпустить? Происходит, конечно, полное безобразие. Жокеи едут и только и делают, что оглядываются назад. Где же этот тихход, который должен выиграть? И приходит к столбу совершенный аутсайдер. Позор. В публике крик. Судейская некоторое время молчит. Потом на доске результатов вместо номера и резвости победителя появляется слово: «КОТЕЛ» — скачка аннулирована. Доигрались. Скакавших жокеев одного за другим вызывают в судейскую. Туда же протискивается синяя фуражка милиционера. Бедный мой мальчик!

Мне же остается зайти еще раз на конюшню и разметить табель работы на завтра.

— Привет науке! — говорю, проходя по коридору.

Сажусь в жокейской за стол. Беру табель. Беру ручку. Пишу.

Шаг.

Аспарагус

Рысь.

Элеватор

Бей-Меня

Не-Хочу-Я

Гало...

Звонок.

Внутренний.

Кончаю писать. Кладу ручку. Беру трубку.

— Насибов слушает!

— К директору, срочно!

Началось. Иду — в который раз сегодня! — через круг в контору.

Кабинет Драгоманова просто музей. Люблю заходить в этот кабинет. Просто радостно. Картины. Бронза. Сияют кубки в зеркальных шкафах.

Сегодня кубки-то сияют, но лица мрачны. Сидит судья кроме Драгоманова и еще кто-то, мне незнакомый.

— Товарищ Насибов, — начинает Драгоманов, — объясните, почему в пятой скачке ваша лошадь так плохо прошла? Ведь она была фаворитом.

— Ах, это и есть Насибов! — восклицает незнакомец. — Приятно познакомиться.

И жмет руку.

— Майор Пронин.

Знакомство, ничего не скажешь.

— Так объясните, — не отстаёт Драгоманов.

На картине за спиной у него я выигрываю Кубок Осло. На гнедом Гарнире. Сколько же в этом жеребце было лошади! А на столе у Драгоманова Забег подо мной — в бронзе.

— Мальчик, — отвечаю, — мальчика я посадил. Мало опыта. У поворота он просидел, а надо было выпускать всю.

— Зачем же на такую ответственную лошадь сажать мальчика? — возмущается главный судья.

Самому противно. Разговор на этом заканчивается, Майор даже руку жмет и говорит: «Приду болеть за вас!» Но Драгоманов руки не подает и провожает меня за дверь. Там, на прощание, он вздыхает:

— Хоть бы ты постыдился!

Да... Так вот проснешься утром, зимой, когда на конюшню спешить не надо, и вспоминаешь былую боль.

Воспоминаний много. Отзвучавшие копыта стучат в голове. Как только проснешься, так и оживает прожитая жизнь.

Но за морозным окном уже посветлело, и пора все-таки вставать. Я поднялся свободно, не боясь разбудить ни жену, ни детей: места много, квартира новая, однако окна все так же выходят на скаковой круг, только в другой поворот.

Я вышел на кухню и заглянул в холодильник. Поджарю себе колбасы. И сало еще какое-то лежит. Что ж, сала можно. До весны все можно! Гуляй, Насибов... Кушай, жокей!

Если бы не жокеем, я бы поваром стал. Хорошее сало. Многовато отхватил. Ну, жене сало вредно, ей надо фигуру беречь, а ребята сала вовсе не едят. Хорошее сало, даже обрезки бросать жалко. Хотя бы кошка была... Снесу на конюшню, там у нас кошка есть.

И вместе с мыслью о конюшне прозвучал, как нарочно, телефон. Внутренний. Служебный.

— Насибов слушает.

В трубке раздался какой-то клеток, а потом просто крик:

— Жалуется! Кормилец на левую переднюю жалуется!

Кричала Клава, конюх Анилина.

Шипело сало, прыгали на сковородке пузырьки.

Квартира новая, хорошая, да поворот другой, противоположная прямая, до конюшни в два раза дальше стало. Я побежал не через круг, а по забору. Я надеялся на дырку в том заборе, которую хорошо если Драгоманов не заколотил.

Клавин крик был слышен издалека. Она кричала:

— О-о! О-о!

Призовых-то ей начисляют к зарплате до тридцати пяти процентов... И какие призовые! Большой Всесоюзный, Вашингтон, Париж...

— Доктора вызвали? — сразу спросил я старшого.

Он в ответ кивнул. Жеребец не ступал полностью на копыто, приподняв его словно для приветствия. Опухоли не видать. Отека нет.

— Может, он в решетку залез?

Бывает, лошадь прыгает от избытка сил в деннике и может попасть копытом в решетку.

— Нет, я следил, — едва слышно проговорил ночной сторож.

Ведь и у него призовые. Мы все сгрудились возле Кормильца. Клава кричала, не переставая.

Наконец раздался треск, другого рода крик — явился доктор.

— Не плачь! — пригрозил он Клаве. — Не последний крэк на свете. Будет день, будет пища!

Но все же, не тронув Клаву пальцем, он полез под лошадь. Мы не дышали.

Доктор взял копыто. Не греется. Доктор повернул копыто подошвой кверху. Понюхал. Нет, порядок. Рука его двинулась дальше, ощупывая бабку. Сухожилие... А выше уже ничего быть не может.^[14]

Доктор постоял некоторое время, сморщив лоб. Думает. Мы не дышали. Доктор всматривался в жеребца.

— Ну-ка, — сказал он наконец, обращаясь к старшему, — возьми ногу. Правую!

— Эй, кто там! — крикнул старшой. — Ногу подержите!

Прибежали мальчишки, взяли ногу. Ясно, на двух ногах лошадь не устоит. Если ей правую поднять, она левую непременно опустит.

И как только один из мальчишек согнулся под тяжестью правой ноги, Анилин как ни в чем не бывало ступил на левую ногу.

— Прикинулся, — дал диагноз доктор.

Телефон тут раздался. Внутренний. Служебный. Драгоманов. Он все уже знал. Знал, что Кормилец хромает. Он просто занял в трубку:

— Ну, что там?

— Прикинулся, — проговорил я как заводной следом за доктором.

Мне приходилось об этом слышать от стариков, но я всегда относил это за счет тех разговоров, что раньше все было не так, как теперь. И ездили прежде не так, и лошади были не те... «До того были умные лошади, что не хочется ей на приз скакать, она и прикинется хромой!» И вот своими глазами это увидел, хотя почему именно в тот день наш Кормилец решил нас напугать и прикинулся, не могу ответить. Такие загадки в конных летописях вообще встречаются. Почему, например, с Черным Принцем неразлучна была кошка.^[15]

— Прикинулся? — переспросил в трубке Драгоманов, тоном сразу же до того изменившимся и успокоенным, будто у него на глазах лошади «прикидывались» каждый день. Вот уж поистине старик! А еще молодым прикидывается, в баню ходит. — Ты не забудь, — между тем говорила трубка мне, — нам сегодня с тобой к Вильгельму Вильгельмовичу идти.

«А сало-то сгорело, — пронеслось у меня в голове, — от жены

попадет...»

— А еще голосить вздумала! — тем временем ржал, потешаясь над Клавиным страхом, доктор.

Вильгельм Вильгельмович Вильдебранд жил недалеко от ипподрома. Это был знаток-теоретик, совершенно легендарный. Уже много лет, говорили о нем, не видел В. В. ни одной лошади, дабы не замутить скакуна-идеала, сложившегося у него в голове. Все, все, говорили о нем, что ни совершалось на ипподромах, какие ни рождались в конных заводах жеребята за последние десятилетия, все давно предвидел и предсказал Вильгельм Вильгельмович.

Мы поднялись с Драгомановым на четвертый этаж. На двери блестело В. В. В. На звонок отозвался собачий лай.

— Тубо, Дарвалдай, — слышался голос.

Дверь отворилась, и к нам был обращен вопрос:

— Чем могу быть полезен?

— Вильгельм Вильгельмович, — заговорил Драгоманов, — Василий Васильевич просил посоветоваться с вами относительно жеребца.

— Прошу.

Кругом теснились книги. И все иностранные. С золотом. А бронза и картины (конечно, конные) сияли такие, что феры даст и драгомановскому кабинету.

— Древние говорили: «Книги имеют свою судьбу», — произнес Вильгельм Вильгельмович, опускаясь в кресло и вместе с этим надвинув брови на глаза. — Я скажу: «Судьбу имеют и линии в скаковой породе». Бросая беглый взгляд на современный скаковой мир, мы убеждаемся, что слава элитных производителей, оставивших неизгладимый след, подчинена органическому закону: она рождается, растет, расцветает, а потом клонится к упадку...

Нас он не спрашивал ни о Париже, ни о Триумфальной Арке, он говорил:

— Если взять средоточия скаковой жизни, подобные Сан-Клу...

Глазами я спросил Драгоманова: «Бывал В. В. В. в Сан-Клу?» Драгоманов только головой закрутил, как бы отвечая: «Ни под каким видом!»

— Тогда, — говорил В. В. В., — действие этого закона обнаружится со всей неоспоримостью. Сегодня лавры пожинают Сальвадоры... А завтра солнце Аустерлица встает для потомков Алариха. От Сиднея до Сан-Франциско, от Парижа до Пятигорска — Аларихи, Аларихи, сплошные

Аларихи... Еще в тринадцатом году (если дать себе труд хотя бы перелистать старые выпуски журнала «Рысак и скакун») мною было писано: «Потомство Бой-Бабы и Флоризеля, выведенное на инбридинге...»

Собака вдруг зарычала.

— Тубо, Дарвалдай, — сказал хозяин. — Странный пес, не любит слова «инбридинг»... (Это значит — сведение вместе родственных линий.) Впрочем, как и мои оппоненты!

В. В. В. горько усмехнулся.

— Фанатики прямых линий, они не чувствуют ритма иппической истории. Но я рад, что отрешились наконец от дурмана их нашептываний и решили принять точку зрения историческую. «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», — говорили древние. Что ж, будем надеяться — к лучшему. Сквозь все испытания, посланные мне судьбой, я пронес веру в породу. По мере своих сил стремился я проникнуть в тайны крови. Кровь!

Вскинув бровями, В. В. В. встал.

— Кровь! Англичане, нация конников, говорят: «Кровь сказывается». Лев Николаевич не случайно так любил эту поговорку.

Я припоминал, кто же у нас в Главконупре был Лев Николаевич?

— Не имея счастья встречать его лично, я все же слышал от людей его круга, что он, не знавший, в сущности, коннозаводского дела и на скачках не бывший ни разу в жизни, но все же понимавший толк в лошадях, он, создатель Холстомера и Фру-Фру, понимал значение этого принципа много глубже специалистов...

— Вильгельм Вильгельмович, — вдруг вставил Драгоманов, — дело прошлое, но скажите, как все-таки насчет Холстомера и шишкинских аттестатов?^[16]

Вильгельм же Вильгельмович еще более оживился. И нельзя было не слушать его в эту минуту.

— Хорошо, — произнес он, — я скажу вам, иначе, боюсь, вместе со мной умрет и истина.

Он наклонился к Драгоманову и прошептал:

— Тайно, по ночам, Шишкин водил орловских жеребцов на свой завод. Отсюда и аттестаты! Холстомер же, этот, быть может, резвейший рысак, какого только знало прошлое столетие, назначен был к холощению. Шишкин исполнил приказание, выложил Холстомера, сделал его меринком, однако перед тем покрыл им кобылку своего завода по кличке Угрюмая. От Угрюмой и Холстомера родился Атласный, еще прозванный Старым Атласным, от Старого Атласного был Молодой Атласный, и от Молодого Атласного явилась «лошадь XIX века», гнедой Бычок, описанный среди

других достопримечательностей того времени в «Былом и думах». Все наше коннозаводство, таким образом, началось от Холстомера, увековеченного Львом Николаевичем.

— Однако об инбридинге... Дарвалдай, молчи! Да, я предсказывал, что со временем Святой Симеон возобладает надо всеми линиями. Ибо что есть комбинация Бой-Бабы и Флоризеля с одной стороны и Эпикура и Маргаритки с другой, как не инбридинг... Молчать!.. На Святого Симеона в четвертом и пятом колене через его детей Эпохального и Грамотного!

Мы, собственно, ни слова еще не сказали ему о Святом Симеоне, но, видно, Вильгельм Вильгельмович видел все насквозь и читал наши мысли.

— Что ж, Святой Симеон был лошастью выдающейся. Но позвольте у вас на глазах извлечь некоторые уроки из его судьбы. Я начну издалека, чтобы показать вам самые корни, плоды которых пожинает современный скаковой мир. Пора итогов наступает!

В. В. В. опустил в кресло, но вскоре опять встал.

По его словам, день 13 мая в каком-то там тысяча восемьсотом году был всему началом. Две звезды первой величины должны были столкнуться, чтобы решить, какая же из них первая. Летучий Голландец встречался с Вулканом. Ни в скаковом классе, ни в чистоте происхождения соперники не уступали друг другу. И только финишный столб мог дать ответ, кто же из них все-таки лучший. Летучий Голландец был истинно велик. Кроме того, он был старше, он был опытнее Вулкана. Общественное мнение клонилось до известной степени в его сторону. И что же? Титан Летучий остался в побитом поле. Впечатление это произвело потрясающее.

— Публика не верила своим глазам, — говорил Вильгельм Вильгельмович, — жокей, скакавший на Летучем, слезал с седла, рыдая как ребенок, судья, вручавший приз Вулкану, был бледен как смерть.

Драгоманов тоже побледнел.

— Но здесь же владельцы великих скакунов заключили новое пари. И на перескачке Летучий Голландец блестяще реабилитировал себя. Но дело не в этом!

Прошли многие годы... Годы и расстояние разлучили опасных соперников. И вдруг природа помирила их в одном создании. Через Вольтера, серого, имевшего в родословной Летучего Голландца, и через Святую Ангелину, приходившуюся Летучему внучкой, а Вулкану племянницей, достоинства исторических скакунов воплотились в одном жеребенке. Родился Святой Симеон.

Он был породен и правилен. Он был капитален, но отнюдь не громоздок. Он имел мощный круп и безукоризненных очертаний голову,

которая иногда и до сих пор проглядывает у лучших представителей его потомства.

Я взглянул на Драгоманова: «Где же видел В. В. В. потомство Святого Симеона?» Драгоманов только голову склонил.

— У него ноздря была, — говорил Вильгельм Вильгельмович, — как львиная пасть. Дыханье его не знало предела. И, конечно, как всякая истинно классная лошадь, имел он и недостатки. У него на правой задней по скаковому суставу виднелось некоторое утолщение. Утолщение это вполне можно было принять за курбочку (припухлость). Так, собственно, и думали, что это курбочка, а потому с аукциона Святой Симеон был продан не сразу и скакать начал позже своих сверстников.

Но зато первые же выступления показали, что это скакун-феномен. Соперников Святой Симеон, в сущности, не знал. От встречи с ним просто уклонялись, чтобы не позориться. Он оставил ристалище непобежденным.

Нрава он был неукротимого, — продолжал В. В. В., — всю жизнь подпускал Святой Симеон только одного и того же конюха. И даже этот конюх не знал с ним покоя. Однажды конюх слушал проповедь о многострадальном праведнике Иове, терпения которого не могли искусить никакие испытания. «Попробовал бы Иов, — сказал конюх, — почистить Святого Симеона».

Боялся Святой Симеон только... зонтика. Стоило показать ему зонтик, как начинал он дрожать всем телом. Однако избави боже было показать ему хлыст! Но не мог же жокей скакать на нем под зонтиком...

Однажды, — говорил Вильгельм Вильгельмович, — жокей попробовал тронуть его шпорой. Было это ведь в то время, когда и жокеи надевали шпоры. Тогда жокеи ездили на длинных стременах,^[17] а дамы носили длинные туалеты...

Итак, жокей надел шпоры. Святой Симеон, почуяв их, просто понес, понес куда глаза глядят. Они выскочили со скакового круга и исчезли из людских глаз. Жокея нашли вечером на земле с одними поводьями в руках. Он не мог толком объяснить случившегося.

Даже я, — сказал В. В. В., — не могу вам сказать, что между ними произошло.

Но, увы, Святой Симеон пережил и свою славу. Первые ставки жеребят от Святого Симеона раскупались нарасхват. То были действительно классные скакуны. Получились миллионы, когда было подсчитано, сколько же в общей сложности выиграло потомство Святого Симеона. А потом начался спад. И об увлечении его кровью стали говорить как о заблуждении, о всеобщем помрачении умов. Но нет, просто у тех, кто

так судил, было слишком коротко зрение. Природа действует медленно. Кровь Святого Симеона совершила некий подспудный круг и, освежившись где-то в других кровях, засверкала вновь. Мы с вами, если хотите, современники нового умопомрачения авторитетом Святого Симеона. Но, говорю я вам, это не вечно! Грядет новый цикл.

— Что же будет? — упавшим голосом спросил Драгоманов.

— Рабле! — тотчас воскликнул Вильгельм Вильгельмович. — Рабле, только и всего!

Он же писал еще в двадцатом году в газете «Красный Пахарь», что на смену линии Святого Симеона придет линия гнедого жеребца Рабле. Никто и слушать не хотел. Но вот, скоро все сбудется.

— Не дайте моде увлечь себя, — говорил Вильгельм Вильгельмович. — Держитесь во взгляде на лошадь самобытности.

Драгоманов беспокойно заерзал на стуле.

— Они же фляйеры! — сказал он. — Безбожные фляйеры, все эти Рабле! До тысячи метров — ракета, а потом слезай и хоть сам скачи!

Но Вильгельм Вильгельмович, кажется, только и ждал этого возражения.

— Припомните Кубок в Кентукки! — воскликнул он.

Я уж не стал спрашивать, бывал ли он в Кентукки. Я-то был. Ипподром хороший. Но повороты крутые. Я, правда, только видел этот ипподром, скакать мне там не приходилось. Однако Вильгельм Вильгельмович, кажется, скакал. Во всяком случае, до мелочей изложил он нам, как разыграли кубок.

— Там была рыженькая кобылка под двадцать восьмым номером, — говорил он. — Хотя она и пришла предпоследней, но те, кто умеет смотреть и оценивать факты, не могут забыть, что за бросок сделала она на финише. А почему? Достаточно взглянуть на ее происхождение, чтобы получить ответ. Рабле, этот конь-ветер, повторяется у нее трижды в сочетании с потомством Персилеса и Сигизмунды. Да, сам по себе он, бесспорно, фляйер, но линия его требует прилива пусть второсортной, но все же добротной дистанционной крови, и тогда... о, тогда!..

Вильгельм Вильгельмович не произносил некоторое время ни слова. Он откинулся на спинку кресла так, словно перед глазами у него явилось все, о чем он нам только что сказал.

Долго шагали мы с Драгомановым по темным улицам, не произнося ни слова.

— Да, много в человеке класса, — сказал наконец Драгоманов.

Опять мы шли молча. А когда прощались, Драгоманов вдруг сказал:

— Но никаких Рабле я покупать все-таки не стану.

Мы разошлись в разные стороны, отправившись по домам, как вдруг он опять меня окликнул. Я обернулся. Он стоял вдалеке под фонарем. Было тихо, он говорил очень четко, и я хорошо слышал:

— Фляйер есть фляйер!

Не успел я сделать нескольких шагов, он опять меня позвал:

— Забыл предупредить тебя. Собирайся, повезешь Анилина в завод.
Пора!

— Автобусом?

— Нет, автобус пришлось уступить спортсменам. Они поехали на Пардубицкий стипль-чез. А ты уж давай поездом.

Мы распрощались наконец, и я посмотрел ему вслед. Как будто памятник слез с пьедестала и решил, пока темно, пройтись по улицам.

Главное в отъезде нашего Кормильца состояло не в том, чтобы начальство убедить, но — как уговорить Клаву. Власть Драгоманова в силу некоторых тонких причин на нее не распространялась.

Пришлось мне взяться за это дело самому.

Старшой предупредил меня:

— Не подпускает.

Конюх — это целая психология, а женщина-конюх — это, скажу вам, двойная бухгалтерия. Тем более женщина молодая и одинокая. В пути Драгоманов сколько раз указывал на Анилина и говорил: «Тоскует! О ней тоскует». Я подтверждаю, это правда. Лошадь ведь чувствует, что достается ей совершенно исключительное внимание, никак иначе не растраченное. Лошадь умеет оценить такое отношение. Что мы! «Но! Я т-тебе!» Вот и вспоминает конь женщину... И она привязывается, а кроме того, как я уже сказал, начисления с призов. Сказал я, и с каких призов: Париж, Стокгольм... Клава у нас на Восьмое марта в шиншиллах ходила, а на мохеровую шаль она и смотреть не станет.

Вот и сказала она нам, когда мы приступили к Анилину:

— Не отдам!

Доктор — ехать нам предстояло с доктором — человек тонкий, понимал, что так просто тут ничего не возьмешь.

— Надвигается грипп, — сказал он задумчиво, шагая по конюшенному коридору перед денником, возле которого как часовой дежурила Клава.

Заметив, что доктор ведет себя совсем не как доктор, она насторожилась. А тут еще грипп...

— Что ж, — отвечала Клава, — гриппом люди болеют...

Доктор сразу воспрянул духом и воскликнул:

— Да! И заражают лошадей!

Клава не нашлась тут сразу что ответить, а доктор не отступал:

— Подумай сама, почему противогриппозную сыворотку делают из лошадиной крови!

Как раз в эту минуту я заглянул в конюшню. И сейчас у меня перед глазами: стоят друг против друга... Один говорит про грипп, а другая, в шубе, которую мы ей из Палермо привезли, к деннику прислонилась. Тихо. Потом Клава говорит:

— Ноги ему порублю, а не отдам!

Доктор молчал: он свое уже отговорил.

Потом вдруг Клава поворачивается и, ни слова не говоря, из конюшни выходит.

Минут через двадцать по внутреннему звонит Драгоманов:

— Ну как? — спрашивает виноватым голосом.

— Путь свободен! — рапортует доктор.

И в соседнем деннике шарахнулась лошадь.

— Грузите, — и Драгоманов трубку повесил.

Погрузка лошади в дальний путь — это праздник. Всем находятя дело. Главный, конечно, плотник. Он рубит перекладыны, прибывает все на совесть. Особенно наш плотник Вася. Сооружают в вагоне стойло. Несут сено. Ставят бочку с водой и туда бросают деревянный кружок, чтобы вода в пути не плескалась. Вешают фонарь. Ставят лошадь. Вагон оживает.

В автобусе ездить удобнее, но процедуры той нет. А конный спорт — сплошная процедура. Конное дело начинается еще на пастбище. Оно ветвится в лошадиных родословных, уходя в глубь веков. Весь тот особый мир, что складывается вокруг лошади, входит в сознание конника. Истинного конника, конечно. А я среди выдающихся всадников не встречал невежд. Каждый «знал дело», а это означает развитое понимание того, чем занимаешься.

Пришел путейский надзор и проверил документы. Впрочем, ничего они не проверяли, а только говорили с доктором на своем аптечном языке. Наконец возник стрелочник. Нет, наконец явился Драгоманов. Ветер шевелил просыпавшееся сено, стружки. Драгоманов стоял в ранних сумерках среди суматохи перед отправкой. Потом он прошел в вагон, дал жеребцу сахара, а нам сказал:

— Посылаю не простых проводников с этой лошадью, а вас двоих! Жюкея международного класса и главного ветврача. Должны вы это попятить!

Стрелочник написал на вагоне «Живность».

— Разве так надо писать! — сказал ему плотник. — Писать надо вот как!

И мелом вывел: «Анилин».

— Ну и что? — спросил стрелочник.

— Как — что? Анилин!

— Э, анилин или вазелин, кому это понятно!

Плотник подумал и приписал: «Мировой скакун».

— Это дело другое, — одобрил стрелочник.

Тогда плотник полез под вагон. Он сел на рельсы у колеса. Доктор подал ему вниз с платформы стакан — «наружное».

— Чтобы дорога у вас была гладкая!

Ну, теперь медлить нечего! Можно и трогаться, ведь живую ценность везем, и какую! Однако прошло часа два, а то и три: мы все стояли на месте, и надпись «Мировой скакун» тонула в темноте. Провожающие разошлись. Сам Анилин задремал, упершись носом в окованный край кормушки.

Подождали мы еще часок-другой и стали звонить Драгоманову — по служебному. Драгоманов велел: «Трубку не клади. Я сейчас», и было слышно, как он по городскому объясняет кому-то: «Весь мир... Тысячные суммы... Надежда нашего спорта...» Только я положил трубку, как прибежал локомотив, схватил вагон и потащил куда-то по путям.

Ночью пути красивы, как море: мигают желтыми, синими, зелеными и, конечно, красными огоньками. От первого толчка Анилин вскинул голову, но ездить ему приходилось не раз, и он очень скоро успокоился. Раскинули мы на сене попоны с надписью «СССР» и накрылись тулупами. Скоро и нас убаюкало.

Глаза мы открыли только утром. Нас по-прежнему качало. Напоили мы коня, и, чтобы выплеснуть остатки воды, доктор приоткрыл плечом тяжелую дверь.

— Москва! — воскликнул он таким тоном, будто мы ехали с ним из Владивостока.

Мы двигались по окружной. Конечно, красиво. Замкнутый скаковым кругом, разве когда-нибудь увидишь столицу со всех сторон, ото всех вокзалов! Нам словно специально ее на прощанье показывали. На том проспекте, например, над которым мы по мосту мчались, я в жизни не был. Все это хорошо и красиво, если бы не жеребец. Но стоило еще раз позвонить кому-то и сказать еще раз про тысячные суммы и весь мир, как помчали нас еще быстрее. Правда, все еще по кругу.

— Зато уж как прицепят к составу, то доедем без остановок, — оптимистически рассудил доктор.

Действительно, нас скоро поставили в поезд. Но прежде спустили на сортировочной с горки. А надпись-то не прочли! Не заметили ни «Живности», ни «Мирового скакуна». Вернее, заметили, да поздно. Несясь вниз, с горки, без предохранительных «башмаков», могли мы только видеть лица стрелочников, провожающих нас глазами и, должно быть, читающих: «Жи... Мирово...» Страшный удар! Все полетело со своих мест. Доски лопнули. Анилин в недоумении заметался по вагону, вскинув свою точеную голову и волоча на обрывке аркана обломок доски.

Вагон замер. В дверях, где-то у наших ног, возникло лицо сцепщика.

Надо было видеть это лицо! Этот испуг, это горе, эту растерянность...

— Я же не знал! Не знал, — бормотал он. — Я сейчас! Сейчас.

Откуда-то таскал он нам, таскал стремительно, новые доски, не такие классные, как по охоте изготовил Вася, но все же приличные.

— Ты что же, шалопай! — раздался тут с неба голос диспетчера. — Не видишь, что за груз? Что за лошадь?

В немом отчаянии сцепщик таскал и таскал доски.

— Да я тебя под суд! — гремело с неба.

Неприятность быстро осталась позади, как только двинулись мы не по кругу, а вперед. Ехали чудесно. Отворили настезь двери, и земля, не знающая предела, неслась перед нами. Доктор обратил, однако, внимание, что у жеребца скучный вид. Ушибся? Нет, незаметно. Доктор приник к брюху! Колики!

Голова Анилина опускалась все ниже и ниже. Дышал он прерывисто и часто.

Грохотал вагон.

— Я же говорил, что сено с душиком! — воскликнул доктор. Но я что-то не мог вспомнить, когда он это говорил. Однако ничего! На то и послали главного ветврача.

Засверкали в докторских руках инструменты. Шприц, игла, колбы, клизма. Нет теплой воды, но тут, как по заказу, поезд встал на разъезде, и я помчался с ведром в избушку стрелочника. Дали мне там кипятка, и принялись мы за дело.

— Выше держи! — командовал доктор.

С клизмой я забрался на перекладину и стоял с кружкой прямо над лошадью, чтобы вода быстрее бежала. Ведро целиком так и ушло на клизму. Это жеребец перенес спокойно, но от шприца шарахнулся. К тому же вагон сильно качало, поэтому доктор опасался, что в вену ему не попасть иглой.

— Губу возьми! — велел он.

Верхняя губа у лошади место болезненное; если крепко ее держать, конь не шелохнется. Попробовал я уцепиться за губу, но рука соскальзывала. Пришлось прибегнуть к губовертке — ременная петля на палке. Петлю положили на морду, на самый нос, закрутили. Анилин тяжело, с храпом дышал через ноздри, сдавленные петлей: ведь лошадь дышит исключительно носом, а через рот она дышать не может. Но доктор жеребца не мучил, он быстро прицелился и сделал укол.

Через полчаса Анилин смотрел уже веселее. Дыханье стало налаживаться. Голова поднялась. Прислонился доктор к конскому брюху и

провозгласил:

— Порядок!

Наше настроение тоже стало налаживаться. Доктор улегся на сене и стал вспоминать всякие случаи из своей врачебной практики. Каких он только не лечил, не оперировал... Кусались, кидались, брыкались! Приходилось ему лечить самую Иерихонскую Трубу. Это была такая феноменальная кобыла-международница. Принадлежала французу, и он с ее помощью полсвета обыграл. Грузит в самолет, летит в Нью-Йорк — выигрывает. Опять самолет — Новая Зеландия: выигрывает. Не кобыла, а просто амфибия. Понятно, как ее хозяин ценил и на какую сумму была она застрахована. Каждое копыто — в десятки, а может быть, и сотни тысяч.

И вдруг Иерихонская Труба захромала прямо перед призом Организации Объединенных Наций. Наши тоже должны были там участвовать, и доктор был с нашими лошадьми. Хозяин Иерихонской Трубы умоляет его: «Посмотрите!»

— Беру я ее за бабу, — рассказывает доктор, — а сам думаю, как бы не ошибиться, а то потом не расквитаешься...

Я представил себе точеное копыто в докторских руках. Кстати, нам она была главная конкурентка.

— Если бы не вы, доктор, наши бы тогда выиграли.

— Пожалуй, но что делать, законы спорта!

Толчки вагона уменьшились, ход замедлился. Мы выглянули: большой город.

— Ростов? — спросили мы у сцепщика, который шел вдоль состава с длинным молотком в руках.

Странно он посмотрел на нас и ответил:

— Днепропетровск.

Как же это так, однако? Пошел я к диспетчеру выяснять. Оказалось, документы у нас так составлены, что попали вместо Ростова в Днепропетровск. Вовремя спохватились, иначе уплыли бы к Черному морю вместо Кавказских гор.

Когда я возвращался из диспетчерской, возле нашего вагона стояла толпа. Доктор успел прочесть краткую лекцию о коневодстве в наши дни. Он уже перешел к ответам на вопросы, разъясняя, почему у коня забинтованы ноги, правда ли, что лошадей до сих пор кормят овсом, какая разница между скакунами и рысаками...

— А сколько такая лошадь стоит?

Когда доктор ответил, то выражение лиц сделалось такое, что я не берусь этого передать. Не в том дело, что словам доктора не верили. Не

верили, кажется, собственным глазам. Не думали, что все это существует. Думали, что увидеть такого коня можно разве что во сне.

Но я замечал не один раз, что после первого ошеломления от встречи с классной лошадью люди приходят в себя и проявляют вдруг удивительную осведомленность, какую они и сами за собой не подозревали. Каждый, оказывается, что-нибудь да знал о лошадях. Каждый чем-то даже связан с лошадью. Когда-то ездил, воевал на коне, от отца слышал или от деда. Словом, почти у каждого в жизни была своя лошадь. И каждая из таких лошадей, по убеждению того, кто о ней рассказывал, проявляла чудеса силы, выносливости, быстроты и, конечно, ума.

— Умен был, ну только что не читал, — говорил железнодорожник про некоего Савраску, служившего его деду.

Во всех этих людях, живущих возле камня и железа, заговорила память о поле, о пахоте, о природе — о лошади. Они заглядывали внутрь нашего вагона, как в некий затерянный мирок, затерянный или забытый ими, но вот, оказывается, существующий.

Прицепили нас к другому составу, и, когда мы тронулись, все по-свойски замахали нам руками.

Чем ближе к югу, тем все меньше становилось снега. Он исчезал, мешаясь с землей, переходя в грязь и слякоть. Когда мы в самом деле достигли Ростова, всюду по земле было черно. На вокзале, куда я дошел купить съестного, детский голос спрашивал, должно быть у матери:

— Это весна? Это весна?

До весны далеко. Я купил колбасы, жареную печенку и язык. До весны далеко... Купил вареную курицу, вареных яиц. А когда возвращался, то попались на платформе еще и пироги. Взял и пирогов. Меню, разумеется, не жокейское, но до весны еще далеко.

С высокой лестницы, поднятой над платформами, я окинул взглядом знакомый город. Каким же еще совсем мальчишкой приехал я когда-то сюда! Мне даже вспомнить трудно, каким я тогда был. Как еще мало понимал езду и пейс! Но уже был необъяснимый напор сил, чутье было, чутье, всегда выручавшее меня.

Не садитесь в седло, если не чувствуете в себе этого!

Я поспешил через пути к нашему логову. Из вагона подымался дымок. Доктор торопился, пока состав не тронулся, развести огонь и устроить жаркое.

Часть вторая
Класс-элита

Старший зоотехник завода, куда мы прибыли, встретил меня со словами:

— Знаешь, Блыскучий вот-вот падет...

Старший зоотехник, называемый также начкон, был особый тип конника, столь же особенный, как и наездники, шествующие через ипподромный двор. Но другой тип, конечно, чем они. Наездники, жокеи, тренеры — это все люди рампы, актеры своего рода, действующие на публике. От столба до столба, от звонка до звонка, от старта до финиша совершается борьба за успех, который может изменить сегодня, прийти завтра, но все же это цель и вознаграждение, достигаемые изо дня в день. Призовые ездки так и живут в непрерывном посыле, словно день, и ночь мчатся перед гудящими трибунами. О, как некоторые расчетливы в эффектной посадке, как вырабатывают жест руки, поднимающей хлыст на последних метрах дистанции! «Смотрите, смотрите, — следит публика за каждым движением мастера, — Ратомский поставил хлыст рукояткой вверх. Значит, езда будет!»

А в заводе среди гор или степей рукоплесканий не услышишь. Как солнце кладет вечный загар на лица этих людей, так уединение и особый труд в этих пространствах ставят на них свою печать. Таких начконов встречал я по всему миру, куда бы ни возили нас осматривать конные заводы. Смотрят они на вас выгоревшими, куда-то устремленными глазами. Ясно куда... Лошадь они видят перед собой, только лошадь. Они даже на ипподроме выглядят чужаками, настолько выросли они в заводскую жизнь. И на лошадей-то, ими же выпестованных, а теперь летящих по дорожке, они смотрят так, словно и не узнают их.

Об одном из таких маршал Буденный сказал: «Кентавр». А еще один такой был вызван в город осматривать лошадей. Ученый мир просил его давать оценку лошадям по пятибалльной системе.

— По системе я не могу, — отвечал начкон. — Я только могу так сказать, хорошая лошадь или гроша не стоит.

Ошибаются ли такие люди? Кто не ошибается в нашем конном деле! Но такой глаз и нюх на лошадей надо поискать! Если даже я услышу от такого: «Жеребенок будет хорош», — то сразу прислушаюсь. Ведь он этого жеребенка знает, как ребенка своего, и его словам нет цены.

Таков был и начкон кавказского конного завода Петр Пантелеевич

Шкурат. А Блысучий был конь-ветеран, доживший до тридцати девяти лет, что надо помножить по меньшей мере на три, чтобы с человеческим веком сравнить. Больше ста лет! Он и на скачках был крэком, и как производитель составил эпоху, но ко всем лаврам прибавил он еще и поразительный рекорд долголетия. Ведь обычная — и глубокая — старость лошади считается лет двадцать.

И вот годы все-таки брали свое...

Мы пошли со Шкуратом на производительскую конюшню — сердцевину завода. Завод сравнительно новый, только при советской власти был здесь построен завод, но сделан он в старых традициях, даже с затеями, как бы удовлетворяющими прихоть кровных коней. Обсаженная деревьями, окруженная клумбами и разметенными дорожками, расположенная у подножья гор с видом на весь хребет, конюшня жеребцов-производителей выглядела просто оазисом. Сколько раз приезжие, посмотрев ее, говорили: «В таких условиях и я согласился бы в конюшне стоять!»

Непрерывно журчала горная река. Опускались сумерки, будто подкравшиеся в тот час, когда угасала жизнь прославленного скакуна.

Мы вошли в просторную парадную залу, тамбур, которым начинается конюшня. И здесь все было разметено, посыпано, прибрано. Сегодняшнее число, год и месяц выложены были на полу цветными опилками. Портреты нынешних обитателей конюшни и наиболее знаменитых их предшественников висели по стенам. Тишина. То была не просто тишина, а тоже нечто, вроде бы специально устроенное, как чистота или число и месяц на полу. В каменный бассейн с водой падали капли. Большая люстра под потолком, огни которой в большие праздники сверкали на атласной шерсти лошадей, была включена только наполовину. Слышались вздохи лошадей.

Вошли мы в самую конюшню. Первый же денник направо был отворен. Но дежурный конюх не стоял у дверей, он подметал в другом конце коридора. Здесь же сторожить было излишне. На двери денника висела табличка с надписью:

Блысучий, рыж. жер.
от Солипсизма и Бравады
Класс-элита

Конь уже лежал на боку. Лошади вообще ложатся редко. У лошади устройство уникальное: она становится прямо, «запирает» суставы на

костях, и все мускулы, расслабляясь, отдыхают. Вот почему есть такие полуполегендарные сведения, будто иные лошади вовсе никогда не ложатся, а всю жизнь так и проводят на ногах. Это сказки, но действительно такого приспособления, как у лошади, — для спанья стоя — нет ни у одного другого живого существа. Поэтому здоровая лошадь ложится сравнительно редко. Хотя, конечно, бывают и среди лошадей любители поспать лежа. А как некоторые из них храпят! Какие сны им, должно быть, снятся! Они ржут во сне, они повизгивают. Хотел бы я посмотреть один лошадиный сон. Но Блыскучий не спал. При нашем приближении он попробовал приподнять голову, посмотрел, но глаза его ничего не говорили. Да, он был рыжий, но годы сделали масть его и седо-бурой. Проседь была рассыпана по всей «рубашке» (то же, что и масть). Поясница его была как бы под бременем лет необычайно провалена. Последнее время его даже на прогулку выводить не решались: мог спотыкнуться и упасть. И это был соперник детей Сирокко! Угасала великая жизнь, уходила вместе с ней целая эпоха.

В последний раз Блыскучего видели на ипподроме, когда покачнулся один из его рекордов, остававшийся незыблемым в течение двадцати лет. Появился новый крэк Брадобрей, приходившийся, кстати, Блыскучему отдаленным родственником по материнской линии. Все та же кровь говорила в их резвости. Но Брадобрей только достиг зрелости, ему было четыре года, пора расцвета, а Блыскучему тогда уже исполнилось восемнадцать. Решено было публике напомнить, чей же это рекорд так долго штурмовали новые поколения.

Привезли на ипподром Блыскучего. С ним вместе приехал Шкурат, изпод Полтавы прибыл Почуев, прежний жокей Блыскучего, тоже почетный пенсионер.

Повели Брадобрея и Блыскучего перед публикой. Седина уже пробивалась на морде у Блыскучего. И седой Почуев, в руках которого конь-ветеран не знал поражений, сел в седло.

Ударила музыка.

В расцвете сил и славы, привычный к победным фанфарам и пресыщенный вниманием партера, шел Брадобрей. Он даже выглядел утомленным. Мол, что мне овации!

Вообще заласкать лошадь славой ничего не стоит. Она, как и человек, падка до успеха и внимания. «И скотинка любит, чтоб ее погладили», — сказано Гоголем про телка. Распространено это может быть и на лошадей. Класснейший из австралийских скакунов гнедой Карабин привык к овациям до такой степени, что не хотел уходить с круга почета до тех пор,

пока не отхлопают ему положенного. А он знал: примерно с полчаса будет продолжаться эта «музыка». «Вот, — как бы говорил он всем своим видом, — отслушаю свое, и тогда, пожалуйста, ведите меня на конюшню». До тех пор — ни с места, и сахаром невозможно было его сманить с круга. Едва смолкали неистовства публики, конь послушно отправлялся домой. Бывают у лошадей, как и среди кинозвезд, жертвы собственного успеха. Трагедии Бриджит Бардо и Мэрилин Монро случаются и в конном мире! Возьмите Нижинского, несравненного Нижинского, ^[18] такого, какого, быть может, еще долго не увидят ипподромы по обеим сторонам Атлантики. Старт Триумфальной Арки. Нижинский выходит на дорожку уже, до звонка, в поту с головы до ног. А почему? Фоторепортеры замучили. Других лошадей, когда скакал Нижинский, для прессы будто и не существовало. Другие преспокойно готовились к скачке. А Нижинский, несчастный Нижинский, стартует издерганный, и нервно и физически, до последней степени. Однако класс есть класс: сердце бойца горит и отдает свое! Но... силы подводят, зря израсходованные силы, утомленность, ненужная утомленность сказывается: нос, всего лишь нос, проигрывает эта, конченная до старта, феноменальная лошадь.

Но, повторяю, лошадь очень привыкает к успеху. Так и Бладобрей принимал все признаки внимания за должное. «Что блеск и мишура успеха, если я играя кинул ближайших соперников на двадцать корпусов... Ах, эти люди с их страстью к пышным церемониям...» Но что сделалось тогда с Блыскучим! Он наострил уши и раздул ноздри. И вдруг, будто желая сбросить груз лет, он прыгнул, прыгнул еще раз и захрапел. Что подумалось ему? Нет, он не смутился публики, не оробел от шума труб и барабана, которые слышал более десятка лет назад. Он в самом деле помолодел, преобразился, приосанился и горделиво двинулся вдоль трибун.

Теперь он лежал, не в силах подняться и справить надобность. Конюх то и дело менял ему подстилку. Его соконюшеники, чувствуя, что происходит, смотрели в его сторону. А соседа его, серого Занзибара, пришлось перевести в другой конец конюшни.

Смерть старой лошади вызывает у конников очень личное чувство. Жаль, если конь погибает в расцвете сил, жаль, но совсем иначе. Жаль упований и надежд, жаль крови и класса, просто живое существо жаль. А провожая такого ветерана, бывалый конник ставит зарубку и на своем столбе. «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга...» Выходим вместе на финишную прямую...

К утру Блыскучий кончился.

— Почувев приехал, — сказал мне Шкурат.

Я пожал руку старшему своему собрату. С центральной усадьбы приехал председатель месткома. Собрались заводские тренеры, конюхи, жокеи, дожидаящиеся в заводе весны. Надели уздечку парадную, с красным ободком, ту самую, что надели ему когда-то, когда в смертельной схватке побил он на полголовы Северного Ветра, сына Сирокко. Покрыли попоной, которую привез он с собой в завод с выставки, с надписью «Чемпион породы». И опустили в могилу стоя.

Уже засыпали землей, когда прибежали с маточной конюшни.

— Сатрапка ожеребила!

Жизнь — смерть, уход и рождение... Мы со Шкуратом так и пошли от свежей могилы смотреть новорожденного.

— От кого он? — спросил я начкона.

— От Дельвига.

Жеребеночек уже поднялся на ножки. Шерсть на нем — мышастая — как бы дымилась. Но под этой «рубашкой» было видно, что он тоже рыжий.

— Да, — вздохнул Шкурат, прочитав мои мысли, — назвать бы его День Блыскучего, но буквы не подходят...

— Ничего, — проговорил за спиной у нас конюх, — жеребеночек по себе правильный. Коня в нем много.

Шкурат пока ничего не сказал. Он обратился ко мне:

— Ну, пойдем! Расскажи про Париж...

Возле одной из конюшен на заводе я заметил новую жизнь. Поинтересовался, в чем дело, а мне объяснили:

— У нас теперь своя конноспортивная секция!

Тут я вспомнил, что еще в министерстве слышал о новом решении: конь — в массы; по всем заводам, совхозам — спортивные секции верховой езды! Кажется странным, что до сих пор этого не было, да ведь дело совсем не простое.

Отправился я посмотреть, что там у них делается. Посредине пыльного плаца, где в беспорядке торчали полосатые барьеры, шагал серого мерина молодой всадник. За ним тянулась толпа ребятишек, и этот малый на них покрикивал:

— Уходите! Прошу, уходите!

Понятно, вместо того чтобы в школу идти, ребята застряли на конюшне. Для них-то дело какое новое и заманчивое! Лошадь им не в диковину. Они росли вместе с лошадьми. Но то были другие лошади, знакомые им даже слишком хорошо, — труд их отцов, работа, служба старших. С годами многие из них пойдут той же дорогой — на конюшню, но в детстве притягивает необычное. А в спортсекции были невиданные барьеры, прыжки, приемы выездки по «высшей школе». Главное, тут каждый из них мог действовать как большой. Не просто «Эй, парень, поддержи!» или «Слушай, отойди!», а — спортсмен! Ясно, все, как один, подали заявления. Положим, приняли не всех. Но, кроме того, начались конфликты между секцией и школой: беда в том, что первый на плацу часто оказывается... последним за партой. Вечная дилемма тренера, который, пряча глаза от своей педагогической совести, говорит такому первому-последнему: «Отпрыгаешь своего гнедого — и марш за уроки!»

Мальчишки, осаждавшие тренера на серой лошади, не отступали.

— В школу за вас кто пойдет? — кричал он. — Мне за вас потом выговор будет.

— В школе сегодня День здоровья! — кричали в ответ ему. — Нас отпустили!

Ребята осаду выиграли, и тренер погодя немного сказал:

— Ладно, седлайте Ромашку, Пехоту и Зайца. Седлайте — и шагом! Чтобы без команды моей ни одного темпа галопа!

Увидев меня, тренер сразу спохватился, спешился, отдал свою лошадь

какому-то карапузу-счастливцу, а сам подошел ко мне. Он мне представился. Я об этом тренере даже кое-что слышал. Он окончил Ветакадемию, имеет первый разряд, троеборец: выездка, кросс и преодоление препятствий. Аспирант-заочник. Пишет диссертацию «Организм спортивного коня». Сюда приехал недавно. Назначен тренером секции. Есть у него еще в штате двое разрядников.

Сели мы с ним на препятствие-шлагбаум. Тем временем из дверей конюшни появилась довольно пестрая кавалькада. Преобразившиеся ребята преважно разбирали поводья и подгоняли себе стремяна.

— Пока трудновато приходится, — сказал тренер.

Да это и без слов было видно хотя бы по тому, как здесь еще неуютно, не обжито, в особенности если сравнить это с картинкой, а не конюшной производителей. Даже клички лошадей, которых велел он седлать, говорили о том же: что это за клички! Уж во всяком случае, не говорили они о классе, о породе. Недоразумения какие-то, а не клички, одры, а не лошади.

— Вот если бы вы помогли нам лошадей достать, — сказал тренер.

Знаю, что это за вопрос. На конном-то заводе лошадей ведь нет. И это вовсе не парадокс. Откуда же там, на конном заводе, лошади? Там есть племенной состав, организм, механизм, в котором каждая единица на счету.

— Нет лошадей! — так и сказал мне директор завода, сказав, собственно, что я и сам ожидал от него услышать. (Это когда я взялся новому делу помочь и пошел говорить с начальством.)

Директор сказал даже больше того.

— У меня десятки тысяч голов мелкого рогатого скота, — загибал он пальцы, — коровы, свиньи, у меня птицы, шестнадцать тысяч кур и... тысяча лошадей. Могу я этими лошадьми заниматься, скажи ты мне? Доложу я тебе прямо: не за лошадей у меня на первом месте голова болит. На первом месте у меня голова болит за овцу. Мне говорят: дай шерсть! Яйцо! А за лошадей меня уже который год никто и не спрашивает. Так что о твоих конях, знаешь, у меня на каком месте голова болит?

Директор помолчал, словно затем, чтобы подсчитать в уме, на каком именно месте у него в голове лошадиная боль, и сказал:

— На двадцать пятом.

Он собрал складки на лбу и поморщился, так что в самом деле стало видно, как во многих местах и о многих вещах сразу болит у него голова. Потом пришло ему на ум что-то веселое, он улыбнулся:

— Садись на мое место, Коля, если охота тебе об лошадях говорить, а я пойду... Поговорку помнишь?

— Куда бы ни приезжали наши конники... — решил ответить я ему.

Однако директор не дал мне договорить.

— Вы там, — рубанул он рукой, — на Центральном ипподроме играете себе в лошадки! Сотня-другая лошадей у вас в парниковых условиях, а что в массе с этой лошастью творится, у вас об этом и понятия нет!

— Я жокей международной...

— Знаю, кто ты такой, — опять не дал мне говорит директор, а только махнул рукой на стену.

За его спиной, как у Драгоманова, стояли кубки, выигранные большей частью мной. Как у Драгоманова, только не под стеклом и потому слегка запыленные.

— Я сам, — продолжал директор, — за рубеж ездил и видал все это... Тогда из Голландии вернулся и в министерстве докладываю: «Разрешите мне сделать то-то и то-то, и будут у нас цыплята-бройлеры не хуже голландских». Нет, отвечают, это не...

Раздался телефонный звонок. Директор взял трубку, послушал и сказал:

— Еду.

На прощание он сказал мне спокойно и добродушно:

— Видишь, Коля, какие дела? Была бы у меня возможность, уж я бы этого тренера как-нибудь не обидел бы, нашел бы ему лошадей по сходной цене. Было бы и ему хорошо, и мне лишняя забота долой. А так разбазаривать конский состав я не могу. И дешевле десяти тысяч у меня в заводе и калеки не найдешь, исключительно не найдешь. Есть у него такие деньги?

— Денег таких у меня нет, — тренер мне это еще раньше ответил, как бы зная заранее, что скажет директор.

Сидели мы с ним на «шлагбауме», на полосатом бревне. Мальчишки, взгромоздившиеся верхом, шагали вокруг нас. Тренер стал делать им замечания, поправляя посадку, требуя поправить уздечку или подлиннее отпустить стремя. Мальчишки норовили, конечно, короче сесть, сразу по-жокейски.

Наконец, тренер поднялся, нахмурился, как обычно сосредоточивается человек перед делом ответственным, и голосом, сразу изменившимся, произнес:

— Повод!

«Повод» — первая команда в спортивной езде. Это означает: разбери поводья, подтянись, словом, приготовься. Стоит и мне услышать «Повод!»,

как память возвращает меня назад, к началу, «на старт», к очень уже далеким чувствам юности. Ни один тренер (а сколько тренеров и сколько раз в день!) именно этой команды не отдает безразлично. Каждый, готовясь произнести «Повод!», чуть-чуть да изменится в лице: память сработала, вспомнил! Мальчишество свое вспомнил.

Запустив карусель, тренер вновь сел на шлагбаум, и мы вернулись к разговору о покупке лошадей.

— Мне всего-то, — продолжал тренер, — отпущено тысяч пятнадцать. Вот и вертись! Куплю я какую-нибудь отскакавшую знаменитость тысяч за десять, а что, если она окажется никуда не годной? Как узнаешь? Происхождение изящное, по себе хороша, скакала удачно, а в прыжках — бездарность. А другой скакун так себе, но прыгает — только держись!

— На Ромашке! — тут же закричал тренер, следя краем глаза за своей кавалькадой. — На Ромашке, сядь свободно и прямо. Что ты скорчился, как кот на заборе?

«Свободно и прямо» — неперемное и необъяснимое правило верховой езды. Сидеть в седле надо прямо, стройно, подтянуто, как влитому надо сидеть. Но в то же время не так, будто аршин проглотил, а свободно, как бы между прочим. Сидеть себе, и все.

Мы с тренером вернулись, впрочем, к разговору о пороках знаменитых лошадей. На минуту я представил себе, что сказал бы об этом Вильгельм Вильгельмович. Как он бы сказал! Брови, осанка, рука: «Кр-ровь!» Уж конечно он вспомнил бы Киншем, «чудо из чудес», опровергавшую все выкладки и подсчеты, все «правильные» представления о породе и скаковом классе.

Кобыла, а соперников ей не находилось и среди жеребцов. Эксплуатировали ее на скачках нещадно. Скакала она и двухлетней и трехлетней — до пяти лет. Что же будет с ней в заводе? А Киншем дала великолепное потомство. Но главное, разумеется, в том, что за всю историю скачек Киншем была единственной непобедимой лошастью. Бывали крэки, бывали феномены, были и непобедимые бойцы, наводившие страх и ужас на соперников, почти непобедимые, сказать точнее. Потому что, во-первых, многие из них и не встречали на призовой дорожке настоящего сопротивления. Легендарный Рибо, например, был велик — это верно, он остался непобежденным, тоже верно, но ведь выступал он всего семнадцать раз, и с каждым разом соперников у него становилось все меньше, соперники у него оказывались все менее классными. От встреч с Рибо истинные звезды своего времени предпочитали уклониться, зная действительно необычайный класс его и не желая терять своего блеска,

своего престижа.

Не так было с Киншем. Напротив, никто не верил своим глазам, никто допустить не хотел, что эта венгерская кобылешка (она была родом из Венгрии) в самом деле крэк, и крэк невиданный. Все упорнее, все страшнее, все класснее становились ее соперники, и все-таки они все... оставались сзади, в побитом поле. Будапешт, Вена, Париж, Гамбург — всюду те, кто скакал с Киншем, только и видели, что пыль из-под ее копыт. Когда же наконец прибыла она в Англию, Мекку конников, против нее выставили Леди Голайтли. Казалось, Леди Голайтли берет верх и континентальная претендентка будет развенчана. Дело в том, что английские ипподромы особенные. Англичане, хотя они в отношении скачек классики, все же народ с причудами. Англичанин в седле видит перед собой игрушечные поля своей «старой доброй Англии», по которым он должен нестись с улюлюканьем и собаками, преодолевая на своем пути все: подъемы, спуски, ручейки, канавы и прежде всего традиционные английские изгороди, разграничивающие эти поля. Ату его! «Полный гон» — так это у них называется. И на ипподромах у них дорожки имеют соответственно подъемы и спуски. Думали, на горе кончится и Киншем. Но взялся за хлыст жокей, впервые, должно быть, за всю карьеру Киншем прибегнул он к этому средству — и «мадьярское чудо» понеслось так, что хотя Леди Голайтли и не пришлось глотать пыли (английские скаковые дорожки — те же газоны), но горькую чашу поражения пришлось гордой британке выпить сполна.

Пятьдесят четыре старта за три года, пятьдесят четыре первых места — такова была карьера Киншем, и такого ни прежде, ни потом не показала ни одна лошадь. Всякий великий когда-нибудь хоть бы раз да проиграл или же захромал до срока, до главных скачек. А Киншем не знала ни хромоты, ни усталости, ни поражений. Лишь однажды снизошла она до того, что, придя в Баден-Бадене с другой лошадью голова к голове, поделила первое место. Но не больше того! А ведь тогда, в Большом Баден-Баденском призе, была она жестоко гандикапирована, то есть был ей положен дополнительный вес: на ней, в отличие ото всех остальных, скакал не один человек, а как бы человек с четвертью. И все же взять ее не смогли...

Одно только можно поставить ей в упрек: она умерла слишком рано, а классные лошади, как правило, отличаются еще и долголетием...

— Ну, ребята, — произнес тренер, вставая, — теперь мы с вами сделаем галоп.

Опять сделался он немного торжественным.

— Галоп, — сказал тренер, — труднейший из аллюров. Главное,

следите за тем, чтобы лошадь, поднявшись в галоп, шла все время с одной и той же ноги — с правой или с левой.

— А я что-то встал сегодня, кажется, с левой ноги, — вырвалось вдруг у того, кто сидел на Зайце.

— Попрошу без шуток! — возвысил и без того приподнятый голос тренер.

Трудно было в самом деле найти более неподходящий момент для посторонних замечаний: галоп! Но и сам он, на Зайце, почувствовал это и едва усидел в седле, растерявшись от собственной дерзости.

— Крайне важно сохранять на галопе правильную посадку. Сидеть можно по-манежному и по-жокейски.

— Можно как на скачках? — вырвалось у паренька на Пехоте.

— Ты научись сначала повод держать правильно, а потом о скачках будем говорить!

До конца прошлого века в седле только сидели. Скакали, прыгали, ездили манежной ездой, все так же сидя в седле. Потом заметили, что стоит в седле приподняться, привстать на стременах, как лошадь идет быстрее. Это понятно: у лошади облегчается задняя часть корпуса, и толчок задними ногами делается мощнее. Тогда и сели жокеи так, как сидят они и по сей день: пристав на стременах и скорчившись. Такая посадка нужна, когда нужна предельная резвость, а во всех остальных случаях удобнее оставаться на «глубокой» посадке, в седле. Но у ребят в голове шумел, конечно, «вихорь шумный»: каждый мечтал нестись перед трибунами, как бы перед трибунами... Однако прежде чем приподняться над седлом, надо научиться как следует держаться в седле. Так что тренер выбрал тех, кто покрепче, и сказал:

— На Ромашке и на Прибое, поедете по-жокейски. На Пехоте и на Зайце — по-манежному. А ты, — обратился он к тому карапузу, которому он отдал свою лошадь и про которого я совсем забыл, — становись в голову. Поведешь группу.

Действительно, я как-то упустил из поля зрения этого паренька, но стоило мне услышать, что его ставят в голову, и стоило бросить мне на него один взгляд, как я все увидел, все понял. Парень этот сидел на лошади! Всадник! А был вроде бы меньше всех. Но ведь не случайно же именно ему доверил тренер своего коня. Как же я всего этого сразу не заметил!

Мы обменялись с тренером взглядами.

— Да, — отвечал он, — моя надежда. Есть у него чувство лошади.

Карапуз на сером встал в общий круг. Пехота и Заяц нервно теребили поводья, оглядываясь каждую минуту на тренера. Прибой и Ромашка, ни на

кого не глядя, уже воображали себя мастерами. А все-таки в самом деле сидел в седле один карапуз! Как это сразу видно и до чего же неуловимо! Ну какая разница, казалось бы...

— Га-ло-пом... Ма-арш! — протянул тренер.

И закачались кони. Они раскланялись, как это вы все, наверное, видели в цирке, по кругу, по плацу, похрапывая.

— Держите дистанцию! — дирижировал тренер. — Не наезжайте друг другу на хвост.

Уж я следил за первым, за серым, за карапузом. Рождение спортсмена! Кем он будет? Новым Кейтоном, вторым Лиловым, Сергея Иваныча^[19] затмит? Окажется ли он способным по выездке, станет ли смело прыгать, откроется ли у него понимание пейса, достойное истинного жокея, — это все вопросы будущего, а главное — он уже есть, есть настоящий конник, этот складный комочек на спине у лошади.

— Ша-агом, — запел тренер.

И кони прежде своих увлекшихся всадников выполнили его команду.

Уже завершилась заездка молодняка в заводе, и по конюшням стояли пусть юные, но уже готовые к тренингу лошади. На молодых лошадях вес требуется необычайно легкий. «Штатных» мальчишек нам не хватало, и я попросил у тренера:

— Слушай, дай ты мне своего Пигота! Как ты думаешь, усидит он?

— Малый с будущим, — отозвался тренер.

— Так пришли его завтра с утра на тренерскую.

— Ему ведь в школу нужно.

— Ах ты, черт...

Но с утра все равно бы ничего не получилось: меня вдруг вызвал директор.

— Уж извини, — обратился он ко мне без предисловий, — прости...

Я, конечно, не сразу сообразил, в чем передо мной мог провиниться директор. А он продолжал:

— Прости меня, Николай, за лошадей, что я тебе тогда говорил.

И пока я раздумывал, что же это он так, вдруг, директор сам раскрыл карты.

— К нам гости едут, — сказал он, — завод смотреть. И уж гости!

Он подал мне бумагу со списком. Я прочел имена, какие обычно видим на первых страницах газет.

— Прошу тебя по-человечески помочь. Надо организовать показ...

— Выводку?

— Исключительно выводку, если это так у вас называется.

— По какому ранжиру?

— Чего?

— Я спрашиваю, выводить как будем, по полному ранжиру или...

Но «или» привело директора в ужас.

— По полному! Исключительно по полному! Что ты! Для таких-то гостей! Надо же, лошадей едут смотреть, исключительно лошадей. Я думал, списывать их пора или так, в расход. Нет, говорят: будут ответственные товарищи, приготовьте лошадей. Я думал, ослышался. Свиной, говорю, или, может, отары?.. У вас там, отвечают, разве свиноферма? Овцесовхоз? Нет, говорю, но... Так и показывайте лошадей, говорят. Надо же! Подумать только, называется конный завод, значит, лошади. Мне, я тебе доложу со всей откровенностью, это исключительно

никогда в голову не приходило. За лошадей меня уж который год никто и не спрашивает. Спрашивают яйцо, шерсть, молоко... И вдруг спрашивают: «У вас там конный завод?» Да, говорю, конный... Вот времена! Так что давай уж по полному, исключительно по полному... как ты говоришь?.. ранжиру покажем.

— По полному ранжиру, — отвечал тогда я, — выводятся лошади все до одной, включая больных и калек. Так лошадей показывают при ветеринарных инспекциях.

— Что же тогда делать, если не по полному? — спросил упавшим голосом директор. — Зачем же калек?

— А при особых посещениях устраивается ранжир малый, на выбор. Выводятся лучшие. Показывают производителей, и то не всех, а наиболее картинных, по себе эффектных, выводятся матки с жеребьятами, потом...

— Ладно, ладно, — вздохнул директор, — я теперь на все готов. Сейчас Шкурат подойдет, и вы с ним исключительно договоритесь.

Явился Шкурат, и мы принялись составлять ранжир. С кого начинать?

Раньше само собой было ясно: выводку открывал Блыскучий. Один, без конюхов, даже без поводыев и уздечки, выбегал он на выводную площадку. Музыка мягко играла «С неба полуденного...». Конь-ветеран вылетал стремительно и останавливался в центре. Он сам знал, как надо встать. Выгибал шею, раздувал ноздри, настраивал уши, глаза горели, — конь как бы прислушивался к музыке. Потом, поймав такт, двигался с места по кругу. Все быстрее, быстрее, словно по заказу играя каждым мускулом, золотистый красавец набирал ход. И вдруг опять вылетал в центр и окончательно замирал монументом. «Смотрите, о, смотрите, что значит чистокровная лошадь!» — своим видом обращался он к зрителям, и все, кто ни смотрел, теряли головы. Будь то хотя бы отдыхающие соседнего санатория и вообще профаны, будь то ни больше и ни меньше буденновцы или даже сам маршал, всех решительно и нестерпимо поражало это зрелище.

Но Блыскучего больше не было. Пришлось нам со Шкуратом покопаться в памяти, выискивая приемы выводчиков-классиков.

— Белые кобылы на бархате хорошо смотрятся, — прохрипел Шкурат. — Поставить на красном ковре гнездо светлых маток от Лукавого.

— Не пойдет, это ампир. Нам энергичнее надо начать, по-современному.

— Да, да, — оживился директор, умолкнувший на то время, пока говорили мы со Шкуратом на своем языке, — исключительно по-современному. Я бы, например, продемонстрировал парочку бычков.

— Ну, нет, — захрипел Шкурат, — на этот раз бычков не будет! — Начальник конной части аж налился кровью.

— Понимал бы ты в бычках! — ответил ему директор, но все же замолчал, вспомнив, видимо, что тут не скотный двор, а конный завод.

Следом за выводкой нужно было устроить конные игры и, конечно, катание.

— Подадим тачанки, — сказал Шкурат.

— И повезем в отары, — подхватил директор.

— Нет, — отрезал Шкурат, — поедем в табуны. Спустим с гор два табуна до первой балки, а сами туда на тачанках подыдемся. Вдоль табунов проезд восьмеркой и полуаллюром домой.

Директора просто поражало наше знание наперед, что и как делать.

— А может, козлодрание устроить? — раздумывая вслух, произнес Шкурат.

Тут мы с ним оба глубоко задумались. Да, зрелище... Две команды, впрочем, теперь это команды, а раньше аул на аул выезжали верхами в степь. Между ними туша козла. Схватить добычу и примчать в свой лагерь — вот цель! Клубок коней и всадников, борьба, бьются кони, людям остается приложить все умение и отвагу, чтобы удержать добычу и уйти от преследования. Состязание это освящено веками. Во мне самом кровь отзывается, когда слышу я храп, стук копыт, гортанные голоса, понукающие и без того кипящих коней. И даже аромат пыли, да, особенный, вместе с пылью повисающий над всадниками привкус заставляет говорить кровь.

— А если попросить чабанов коп-кари устроить... — проговорил Шкурат, поневоле обратившись тут к директору, потому что чабаны и кое-кто из табунщиков этот спорт знали.

— Ну, нет, — всполошился директор, — людьми я рисковать не могу!

Он видел один раз коп-кари, тоже на празднике, и остался под впечатлением. Тогда бригадиру чабанов Исмаилбекову, первым схватившему козла, голову между лошадьми стиснули, и на седине его виднелась кровь. «Что ты делаешь! — кричал на него директор. — Куда ты, старый, лезешь?» Но семидесятилетний рыцарь ответил, как и всякий бы на его месте сказал: «Алла-иллях-бисмиллях». Значит, возьмет аллах к себе того, кто падет в коп-кари. «Йок-берды-дурака-алла!» — горячился директор, усвоивший, хотя и со страшным выговором, наречие своих чабанов.

— Нет, уж это мы исключительно отменим, — сказал и нам директор. — Лучше решим, где хлеб-соль подносить будем — у конторы

или у конюшен?

Кто подносить будет, вопроса не было. — Пантелеевна, старшая сестра Шкурата и вообще старейшая в станице.

— Может, потренировать немного бабку? — осведомился директор. — Не забыла ли она?

— Ты свою бабку тренируй, как бы она чего не забыла, — захрипел Шкурат.

— Ладно, ладно, — отозвался директор, — это я так, я вот к чему: Пантелеевна поднесет, а потом ведь, наверное, мне... Так я...

Он осмотрелся, словно боясь лишних свидетелей, и достал из кармана гимнастерки две бумажки.

— Вот... подготовился я... так, коротенько... Прошу, прослушайте.

Он покраснел. Он побледнел и зачитал чужим голосом:

— «Дорогие товарищи! Уважаемые гости! За истекший период...»

— Нет, — сказал я ему, — говорить надо так: «Движимые прогрессивными идеями, советские конники...»

— А я хотел показатели привести, — растерялся директор, — надой, мясо...

— Показатели ваши и и без того известны. А тут надо слово сказать. Слово о лошади!

— Слово?.. О лошади? — переспросил директор с таким видом, будто дни его сочтены. — Кто же может сказать?

— Я сказал бы, сказал! — вдруг опять налился кровью Шкурат. — Сказал бы все! У меня все записано, каждый шаг...

Тут только заметили мы с директором, что начкон-то пришел грузеный, что у него воз тетрадей и каких-то книг, похожих на конторские. Он рассыпал их по столу и начал перед нами раскрывать.

— Каждый шаг, каждый день каждой лошади, — говорил он, и руки у него дрожали, — занесен. День случки, день выжеребки... Когда жеребенок от матери отнят, когда оповожен, когда под седло впервые пошел. Прикидки, призы — все размечено. Учтены породные линии по жеребцам и приплод по маточным семействам. Записана каждая резвая работа и условия все: «Ветер слабый, юго-восточный, дорожка мягкая, влажная, повороты крутые». Это еще на прежнем тренировочном кругу, перед войной...

Трудно передать взгляд, каким смотрел тогда директор на Шкуратовы тетради. Он-то собирался списать этих лошадей, а тут, у него под боком, летопись составлялась и каждое дыханье лошадиное заносилось в какие-то книги судьбы.

— Сказал бы я... все сказал, — хрипел Шкурат, — за сорок лет по линиям, по маточным семействам...

Тут вместе с руками у него задрожали щеки, губы. Показал он себе на горло (астма!) и махнул рукой.

— Всего-то никак не прочтешь, — пробовал успокоить его директор.

— Хорошо, — сказал тогда я, — слово я возьму на себя.

* * *

Облако пыли встало у горизонта, там, где дорога из города исчезала за перевалом. И все же первыми показались не лимузины. Как в кино про «Неуловимых», у грани земли и неба возникли ребята верхами. Одетые казачками, они полетели вниз по обеим сторонам дороги, которая петляла, опускаясь и поднимаясь, и уж следом за кавалькадой, стлавшейся под знаменем, перевалил через гребень первый сверкающий автомобиль. За дорогу машины поседели. Иногда пыль вовсе скрывала их, они, будто подлодки, погружались целиком в бурю пучину.

Ребята летели лихо. На этот случай разрешили им поседлать уж не Пехоту и Зайца. «Только держитесь! Исключительно не упадите, прошу!» — говорил им напутственное слово директор. Но ребята, еще неумелые на манеже, в степи скакали по-свойски, чутье отцов выручало их.

Все пошло по писаному. При въезде гостей встречала шеренга ветеранов в голубых шароварах с красными лампасами и в Георгиевских крестах. У выводной площади ждала с шитым полотенцем Пантелеевна, обрамленная двумя ходячими иконостасами: директор и Шкурат — у каждого на груди почти по пол-Европы.

А потом вышел... пони, шоколадный игрушечный конек. Он шаркнул ножкой, то бишь копытцем, и затряс головой в знак приветствия. На голове у него пылал бант. Пришлось попотеть с этим пузатым дармоедом. Баловень завода, он работы не знал, но «висел на балансе», и списать его было уж никак невозможно. Нашли мы применение ему, только повозиться надо было, прежде чем уразумел он этикет.

Однако не успели растаять улыбки, возникшие при виде конька-горбунка, а на плац уже ломили битюги-тяжеловозы. Мы нарядили их в точности как и пони — так смешнее. После первых реприз, показавших торжество, шутки и силу, явился тренер конноспортивной секции, тоже преобразившийся. Во фраке и цилиндре, он на вороном жеребце заплясал «Барыню», а затем перешел на «испанский шаг».

— Разве это выездка? — раздался возле меня голос одного из ветеранов.

— Что же тебе, отец, не нравится?

— Где у современных выездка? В чем? Мы делали восемнадцать фигур различных, и каких фигур! Галоп на трех ногах, вальс на переду и на заду, крупе, балансе... А теперь и четырех пассажиров не наберется! С галопа в рысь перешел — считается фигура. Остановку сделал — еще фигура!..

Разговоры такие я слышал. Нет, не сравнивать надо, «лучше» или «хуже», а просто знать — «прежде» и «теперь». Мне вот, например, самому было жаль, что парады на Красной площади уже не принимают на лошадях. А почему бы, думал я, не сохранить этого? Пусть бы всякий раз, как прежде, летел командарм перед строем, пусть себе замрут танки, самоходки, ракеты или какие-нибудь еще более современные чудеса перед краснозвездным всадником, — эта минута делается как бы средоточием времен. Жаль, не делают этого, — так я думал. Ведь я помнил, как готовили коня, того, на котором был принят Парад Победы. Какие чувства тогда были вложены в этого белоснежного Казбека! Наши кудесники выездки, еще той, прежней школы, о которой вздыхал старый казак, создавали из него подвижную картину. Конь был приучен и к шуму, и к грохоту, и к толпе, а выезджен был так, что если бы вместо поводьев прицепить к узде ниточки и посадить в седло ребенка, он выполнил бы всю программу. Но все-таки главный берейтор, мастер выездки, волновался: всадник, кому конь был предназначен, так ни разу не сидел на нем. А день приближался! Берейтор подал рапорт: «Так и так, нынешние начальники — люди штатские, я хочу сказать, верховой езды не знают, и если произойдет падение или какая-нибудь заминка, ответственность с себя я вынужден буду снять» и т. д. и т. п. Командующий сразу приехал. «Нет, — говорит, — я, надеюсь, усижу! Ведь я, в сущности, кавалерист, специальное училище кончал». И правда, он сел в седло, сел по-настоящему. Ведь человека, который ездит, то есть знает верховую езду, определить можно, когда он еще только приближается к лошади. Разбирая поводья и берясь за стремя, командующий не сделал ни одного лишнего движения, хотя чувствовалась некоторая суетливость, что означало, впрочем, всего лишь длительное отсутствие практики езды. Однако он скоро освоился, и уж по одному тому, что не помчался сразу по манежу, как обычно делают люди, где-то и как-то ездившие и желающие показать себя знатоками и только обнаруживающие невежество свое, нет, всадник профессионально попробовал прежде всего, как конь принимает повод и сдает в затылке. Ну, это уж конь умел!

«Спасибо», — сказал командующий. Спешившись, он и погладил коня умело, потому что ведь коня погладить — это не кошку за ухом чесать. Между лошадьё и всадником ничего лишнего быть не должно, никаких таких «чувств»: хлопнул пару раз по шее, плотно и определенно, дал понять, что хорошо и на сегодня довольно, — так это всадник и выполнил. Берейтор наш вздохнул свободнее. А наутро весь мир следил за движениями белого коня... Вспоминая, что все мы тогда, глядя на того коня, чувствовали, я и думал: почему бы и теперь не принимать парадов на коне? А потому нельзя, что «теперь» — это не «прежде», все равно ничего не получится! Что было, то было, а если нам это и кажется, будто еще есть, то лишь в нашей памяти, а память наша просто нас обманывает: подними по желанию старого вахмистра его однополчан из-под земли, пусть делают они свои восемнадцать фигур, а мы-то увидим не фигуры, не блеск, а массу мелочей, тогда и не замечавшихся, они, эти мелочи, а не фигуры, станут резать нам глаза и вылезать на первый план. Это время. Другое дело, что нынешняя выездка действительно сделалась какой-то вымороченной, и я...

— Николай, — раздался вдруг возле меня голос директора вместе со звоном медалей на груди его, — сейчас дончаки идут, а следом твои, чистокровные...

С крутыми загривками, сбитые и упрямые, норовом под стать хозяевам своим, затоптали по конюшённому коридору жеребцы донской породы.

— Готовьте Сапфира, — сказал я тогда конюхам.

Мы работали на контрасте. «Держите крепче», — велел я ребятам, повисшим у игреневого жеребца на поводьях с обеих сторон, и щелкнул у него за спиной бичом. Он рванул из конюшни, конюхи, едва касаясь земли, летели вместе с ним по воздуху, и весь этот оживший Клодт вызвал общее «О-о!» у публики, что и нужно нам было. А следом, напротив, очень медленно, с достоинством, как бы в контрритме против общего порыва, как учил меня еще Почуев проходить после победы перед трибунами, вышел человек в жокейской форме — камзол голубой, лента красная, картуз зеленый.

— Чистокровных лошадей демонстрирует мастер международной категории Николай Насибов, — слышно мне было, как сказали человеку, сидевшему в центре группы.

— Николай Насилович, — обратился ко мне человек, сидевший в самом центре и, пожалуй, в наиболее скаковых формах, — вы показываете чистокровных, но разве другие лошади, которых мы видели, не чистой крови?

Развеяв это обычное заблуждение относительно слова «чистокровный», я указал, в частности, что чистокровная скаковая порода, называемая для краткости чистокровной и пошедшая по всему миру от англичан, имела трех прародителей, вывезенных с Востока. Из них один, звавшийся Араб, напоминал сложением, в особенности очертаниями головы и шеи, туркменского ахалтекинца. Таким образом, эта резвейшая порода несет в себе, возможно, и кровь наших лошадей.

— Возможно? — переспросили меня. — Нельзя ли точнее?

Осветив в общих чертах тип скаковой лошади, я перешел к вопросам управления.

— В чем состоит искусство управления? — говорил я. — Мягкость рук, а вместе с тем твердая воля, передаваемая едва заметно, однако последовательно, чувство равновесия и вообще чутье, позволяющее не просчитаться в решительную минуту и спросить с коня именно столько, на что он способен, — вот идеал человека, прочно сидящего в седле и знающего свое дело.

Тут уж меня выслушали, не проронив ни слова. Тогда я сказал:

— Куда бы ни приезжали советские конники, — и взглянул на министра, который был тут же, во втором ряду, и уж не мог меня остановить, а только при этих моих словах опустил глаза, — они несут прогрессивные идеи. Однако в спорте дело решает все-таки финиш. Передовые идеи лучше всего утверждать победой над соперниками. Мы не без успеха выступали в крупнейших призах мира, занимая почетные места. Но чтобы победить, нужно освежить кровь, нужен жеребец!

— Сколько же такой жеребец стоит? — спросил меня все тот же человек в центре.

Набрав дыхание, я отчеканил:

— Зависит от класса. И десятки, и сотни тысяч... Миллионы.

Среди гостей поднялся ропот.

— Что ж, подход вполне классовый, — улыбнулся между тем человек в центре.

* * *

Меня вскоре опять вызвал директор:

— Ты можешь мне сказать, куда идет жизнь?

— Жизнь идет вперед, товарищ директор.

— Не-ет, раньше я понимал: овца, мясо, молоко. А теперь говорят:

лошадей! В спорт лошадей дай! На колбасу — опять лошадей! Я нашел, дал, послали итальянцам и французам состав мясных лошадей. Еще давай, говорят. А те куда ж девались? Уже съели, говорят. Так скоро?! И что же ты думаешь? В самые высшие сорта колбасы идет до семидесяти пяти процентов конины. Вот и давай! Теперь ты эту кашу заварил, с покупкой жеребца... Говорят, действуйте, но изыскивайте собственные ресурсы. Торгуйте лошадьми! На колбасу дай, в спортшколу дай, на экспорт дай — и все лошадей! Что же это происходит, я тебя спрашиваю?

Он прошелся по кабинету, вдоль стены, где висели выцветшие и пыльные фотографии лошадей.

— У меня голова не справляется, — продолжал директор, — исключительно не справляется! Голова, а не что-нибудь! Ты вообрази телегу, запряги в нее реактивный мотор и поезжай, да еще по ухабам, — вот это будет тебе моя голова сейчас.

Он все ходил вдоль стены.

— Да нам с Драгомановым на покой пора.

— Почему же? Драгоманов каждое утро верхом скачет, в бане парится...

— Бодрится! В теле призовом себя держит. Это понятно. Но колесики, винтики, — он постучал себя по лбу, — другие уже требуются. Ты слышал: «Точнее! Меньше фантазировать! Смотрите на факты!» А мы с ним как привыкли: упросил, нажал... Все ухватки у нас такие, что без фантазии не обойдешься. На фантазии, на мечте мы замешены, а теперь вот, — посучил он большим и указательным пальцами правой руки, — одни цифры подавай.

Он сел за стол и вздохнул.

— Ладно, я тебя что прошу: поднимись в табуны и отбери на продажу молодняк. Шкурат за эти дни так переволновался, что в больницу свезли. А кроме того, ты сам все это начал, и тебе же торговать ими придется. Так что давай! Машина тебе нужна? На чем в горы поедешь?

— Ну, едем в табуны со мной! — сказал я этому карапузу.

— Прямо в трусах? — раздалось в ответ.

Я застал его на заборе, на изгороди вдоль загона: он сидел в одних трусах на перекладине и, по-моему, воображал себя «великолепной семеркой».

Выехали мы на другой день утром. По узкой тропе лошади шли рядом, конь о конь, но стремяна наши друг о друга все-таки не позвякивали, как хотелось моему спутнику, чтобы больше походить на «великолепную семерку», — длина стремян у нас слишком разная. По мере того как подымались мы над заводом, из-за гребня показывались все новые и новые солнечные лучи. Скала Чертов Палец, торчавшая прямо напротив центральной усадьбы, вся целиком так и отпечаталась на земле ясной тенью. Кони с удовольствием пофыркивали, освежая ноздри прохладным влажным воздухом, но сразу было видно, что это бывалые горные ездовые лошади. Сплошная сила и энергия, они, однако, не приплясывали, не играли, не занимались ребячеством, как это свойственно скаковым лошадям, они знали, что впереди путь долгий и все на подъем да на подъем.

Поднимаясь, дорога поворачивала так, будто нам специально показывали окрестности, то освещенные солнцем, то в тени. На одном из подъемов я оглянулся и даже вздрогнул. Что за сказка? Или это не в горы мы заехали, а на пятьдесят лет назад — на машине времени? Внизу, на большак, выходила красная конница. Краснели верхи кубанок. Белели башлыки. Сверкали самые настоящие газыри (футляры с порохом у всадников на груди). Всадников было не так много, примерно эскадрон, человек сорок. За ними ехала тачанка. Потом — кухня. Всадники были, видно, совсем зеленые. Но сзади, как и полагается, ехал самый настоящий, бывалый вахмистр.

— Что это? — спросил я своего спутника, удивляясь прежде всего, как это он, готовый не то что на любой кляче, но и на палочке верхом поездить, не в этой краснозвездной колонне!

— Каникулы, — отвечал карапуз.

Потом через силу добавил:

— Кавалерийский пробег.

И покраснел.

— А ты что же с ними не поехал? Не взяли?

Не отвечая, покраснел еще больше, а я, все понимая сам — третья четверть, неуспеваемость! — спросил только:

— По каким же предметам?

— Русский и математика.

— Нехорошо, брат! Всадник должен знать свой родной язык.

У въезда в ущелье Любви и Разлуки (когда-то два верных сердца вынуждены были здесь оставить друг друга) мы обогнали еще одного всадника. Он поил коня у Водопада Слез. Но как только конь его, насытившись, вскинул голову и он зауздal его и поехал, то сразу оказался впереди нас, шедших обычным шагом. Конь его шел тропотой, или, как еще говорят, проездом, особым ходом, не шагом и не рысью, а спорой и быстрой побегкой, удобной в горах.

— День будет добрый, — вдруг обернувшись, сказал нам всадник.

— А почему?

Он указал плеткой вверх.

— Гуд-Гора открыта. ^[20]

Значит, там, с пастбищ, увидим весь хребет. У нас седла были спортивные, а новый наш знакомый сидел на казачьем, с подушками. Удобно расположившись, как в кресле, он обернулся к нам и так большей частью ехал, а лошадь его сама с уверенностью выбирала дорогу.

— Метры новые в Москве проложили? — спросил он.

— Какие метры?

— А под землей.

— Метро?

— Вот-вот, я все собираюсь в Москву съездить.

— Давно последний раз были?

— Я не был. Сколько живу, а в столичных городах пока не бывал. Выше Ростова к северу не поднимался. А вы далеко?

— На Хасаут.

— Там полукровные жеребчики у нас.

— Жеребчики нам и нужны.

— Мы спортсмены верховой езды, — отвечал мальчик.

— А я фельдшер. В пятом табуне что-то порядочно кобыл абортировало, так я проверять еду.

— Говорят, роса утренняя на аборты у лошадей влияет.

— Да, так говорят, но то роса августовская.

Солнце вспыхнуло прямо при выходе из ущелья, и перед нами, насколько хватал глаз, развернулось плато — зелень и золотце, от лучей

золотце. Коршуны, занимавшие столбы, кочки и вообще все сколько-нибудь подходящие для наблюдения пункты, стали перелетать с места на место чуть ли не под носом у нас, будто желая проследить, куда же это мы направляемся.

— Орел! — крикнул мальчик.

Властелин гор, впрочем, не парил в вышине, а тоже сидел всего-навсего метрах в ста пятидесяти от дороги. Но разглядеть можно было, насколько у него вид озабоченный.

— «Орел, с отдаленной поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне», — продекламировал, однако, фельдшер.

— Вы не курите? — спросил я его.

— Нет, — отозвался он. — Не искушен во всех этих радостях жизни. Ну, на Хасаут прямо, а мне влево, доброго вам пути!

Он уселся в седле как следует и, опустив руку с плеткой вдоль конского бока, повернул прямо на солнце, сделавшись силуэтом. А нам навстречу, с гор, спускался грузовик, полный доярками. Они пели.

— Где доктор наш? — спросил я у них.

Ведь доктор, как только мы в конезавод приехали, отбыл на опытную молочную ферму, располагавшуюся на высоте тысяча двести метров над уровнем моря. «Сыворотку проверить», — объяснил он это все как-то туманно. Что с ним теперь?

Но поющий цветник не ответил — не разобрали, вероятно, вопроса моего, а только ухнули с всей силой легких, напоенных горным воздухом: «А я люблю жена-атого!»... И орел, который все еще был виден на плато, чуть приподнялся, чтобы посмотреть, что за шум. Он только подпрыгнул, не взлетел — могучие крылья его требовали альпийского замаха. Позднее, поднявшись еще выше, увидели мы его мощный лет. Там, где было уже не только что красиво, но величественно: случайная тучка, зацепившаяся за утес, скользнула через тропу где-то у наших ног, под копытами лошадей; кони прошли сквозь нее, как по речному туману, там и орел поднялся, словно снизошел войти в компанию с нами, на такой-то высоте.

Встречались овечьи отары. Огромные псы, представлявшие на вид помесь волка с медведем, вышли вперед и вместо приветствия пророкотали вроде бы «Прррваливайте!». Ближе к нам и дружелюбно подбежали совсем медвежата-щенки: мальчик хотел было спешиться, чтобы поиграть с ними, но я указал ему на державшуюся в отдалении мамашу, которая, следя за нами, издавала время от времени рокот, «шуму горных вод подобный»... И все-таки страховидные волкодавы были не опасны для пришельца по сравнению с косячным жеребцом, встретившим нас у первого же табуна.

Мы только увидели табун, а вожак-хозяин уже выбежал на передовую, весь напрягся, глядя на нашу сторону, и ударил копытом оземь, как бы говоря: «Попробуйте только ступить дальше этого мной означенного предела!» Мы и не думали нарушать границ. Табунщик, сам усмотрев нас, выехал навстречу и несколькими короткими криками уговорил жеребца успокоиться. «Ну, смотрите же», — отвечал жеребец потряхиванием головы и гривы. После чего он с достоинством скрылся в средоточии доверенного ему косяка кобыл.

Зато табунщик рад был свежим людям. Он спросил нас про последний футбол и не встречали ли мы кассира, который выехал в горы с зарплатой и, говорят, был уже на Кабаньей Балке. Сыграли вничью, а кассира мы не видели. «Значит, к ущелью Псоу завернул», — решил табунщик, словно ему по телеграфу передавали каждый шаг кассира в горах. Он отъехал от нас с тропы шагов на двадцать в сторону, где клубились тучки, и произнес: «Ильмя-один — один-гельды». Подождал и продолжил: «Кассир йок». Он будто бы говорил это самому себе или же просто в воздух. Мы приблизились к нему, и у копыт его коня открылась пропасть. Там, метров на двести внизу, на уступе стоял табунщицкий домик, вроде вагона без колес. Как раз когда мы подъехали, из него вышел человек. Он вышел прямо к тому моменту, когда фразы, произнесенные табунщиком, видимо, долетели сверху до уступа. Он их поймал, понял, ответил и ушел. А до нас долетело «Хо!».

— Практиканты? — спросил нас между тем табунщик.

— Нет.

Табунщик уж и не знал, что о нас еще думать, какие еще из чужих людей могут очутиться здесь, в горах.

— Я жокей Насибов.

— Хорошо, — отозвался табунщик, не желая чужого человека обидеть, но и не обнаруживая к нам интереса сколько-нибудь большего, как если бы ему сообщили, который час, а потом добавил: — Хатисов, вот жокей был....

— Нам на Хасаут, — сказал я.

Табунщик без слов указал камчой (плеткой) дальше, на подъем.

Становилось все жарче. Кони разогрелись, хотя, конечно, ни крупинки пота, ни одного влажно-темного пятна не появилось у них на шкуре: привычные! Подсушенные до предела, они состояли из кожи и мускулов, ходивших под этой кожей, и без грамма излишков, так, чтобы ровно треть от их веса составляли седло и всадник (допустимая норма вьюка на лошади). Ни грозная брехня сторожевых собак, ни пыл косячного жеребца,

ни встречи с другими всадниками и ни один поворот на тропе не вызывали у них лишних волнений или хотя бы лишнего движения настороженных ушей. Они знали наперед, где ступить по неверной тропе, знали, что лай собак — это одни «слова», а жеребец дальше положенного от косяка своего не отойдет. Сосредоточенно кивая головами в такт движению, они тянули и тянули на подъем, не тратя, однако, сил даром.

— Какие клички у них? — поинтересовался я у мальчика.

— Ласковый, — тронул он за гриву своего коня. — А под вами Большой Порок.

В ответ на удивленный мой взгляд с вопросом, как это укрючный (ездовой) конь с такой нехарактерной кличкой, мальчик пояснил:

— Мать у него местная, а отец рысак, Большой Вальс.

Еще я спросил у моего спутника, чем же он будет заниматься, когда дорастет до настоящего спорта.

— Стипель-чезы буду скакать! — не медля ни секунды, отозвался мальчик.

— Почему же стипль-чезы?

В ответ он привстал на стременах, съежился, вытянул руки как бы в посыле и, зажмурив глаза, выкрикнул что-то вроде «У-улю-лю!». Он выразил этим все, что вкладывал в слово «стипель-чез».

— А вы, — обратился он ко мне, в свою очередь, раскрыв широко глаза и тяжело дыша от чувств, на него нахлынувших, — скакали стипль-чезы?

Скачал... Скачка, конкур и кросс разом. В Ливерпуле на Большой Национальный приз в стипль-чезе стартует до сорока всадников, а к финишу приходит иногда только четвертая часть. Стена из бревен, а под ней ров, широкий и глубокий настолько, что лошади, туда упавшие, так с головой и скрываются. Одни в прыжке летят через стену, другие карабкаются из ямы или же валяются вверх ногами поблизости. Этот стипль-чез я, к счастью, видел только на картинке. В Ливерпуль ездил падать один Прахов.^[21]

Мальчику я сказал:

— Знаешь, у меня таких, как ты, двое уже растут. И я теперь каждый раз, когда в седло сажусь, все больше о них думаю. Стипель-чезы не для семейных.

Но почему-то после этого ответа малыш отвернулся и о стипль-чезах больше расспрашивать не стал. «Пусть их, стипль-чезы, Прахов скачет», — думал я между тем про себя.

Перед нами на пути был дом, двухэтажный и с надписью «Сельмаг».

Навстречу нам выбежал человек, будто он нас поджидал и издалека завидел. Размахивая руками, он горячился:

— Нет, вы мне скажите, кого там, внизу, на земле, должен я за ноги подвесить!

— Вы видите? — еще горячее воскликнул он, когда мы вошли в его магазин и оглядели полки.

По одну стену висели хомуты, уздечки, платья, а по другую — в продуктовом отделе — лежала ветчинно-рубленая колбаса и стояла тушенка, тушенка, паштет, гречневая каша, консервированная с...

— Видите? — указал продавец, как трагик, на продуктовый отдел.

— А что такого? Колбаса, паштет, каша с...

— Нет, вы смотрите лучше, с чем каша? Что за колбаса?

— Да что вы меня экзаменуете?

— А то, что все это сплошная свинина! — и некоторое время у человека этого больше просто не было слов.

Потом он пришел в себя и продолжил:

— Вот вы мне и скажите, кого я должен за ноги подвесить? Ведь это в насмешку просто — прислать свинины сюда, где чтут обычай предков и сам исполком есть свинины не станет!

— Ну так и не станет...

— А вы будете свинину есть?

— Мне нельзя, но...

— Ага! — не дал уж и слова сказать продавец.

— Я — жокей!

— На лице у вас написано, кто вы такой, уже не рассказывайте.

— Я — Насибов.

— Так и я вам сразу сказал — Насимов.

— Н-а-с-и-б-о-в, — произнес я наконец так, будто это не я вовсе говорил, а выкрикивали мое имя после победы в Большом Призе, иначе, видно, до этих людей, которые живут так высоко, и не докричишься.

— Правильно! — подхватил продавец. — Это у вас на лице и написано. И вы тоже как миленький свинины употреблять не станете. И про жокеев всяких мне не рассказывайте. Вы лучше мне скажите, как план выполнять, когда некому товар потреблять? Вам свинину нельзя, ему нельзя, — оглянулся он на моего меньшого спутника и спохватился: — Э-э, нет, ему вот свинину можно! Сколько же вам сделать?

Чтобы уж поддержать высокогорную коммерцию, мы запаслись свиным паштетом.

— Берите больше! — советовал продавец. — Выше вы уж ничего

нигде не возьмете.

— Положить некуда, — объяснил мальчик, — у нас ни сум, ни тороков нет. Седла спортивные!

— А хомуты вам не требуются?

— Нет, мы — скакуны, — гордо ответил карапуз.

— А и правда, — скользнул продавец взглядом по нашим лошадям. — Вот тоже, навезли хомутов, а кому они нужны, когда тут веками в хомуте никто не ездил! Кушай, сынок, на здоровье, расти большой...

— Особо расти мне не следует, — сурово отвечал мальчик. — Трудно вес будет держать.

— Что ты говоришь? — продавец изумился, но видно, только из вежливости, потому что голова его была слишком занята вопросами: «Кого за ноги подвесить?» и «Как план выполнить?» А мы, это он сразу понял, серьезного вспомоществования оказать ему не были способны.

Мы двинулись дальше. Орел в вышине не шевелился. «Насибов!» — думал я. Вот мне, жокею, приходится отвечать, отчего одна свинина, и самому спрашивать, где доктор. Зачем это все, когда мое дело — хлыст, уздечка, понимание пейса?.. Но Драгоманов прав: в нашем конном деле крюк далекий сделать надо, чтобы к финишу первым прийти или хотя бы с местом остаться. Нужна ведь лошадь, а лошадь такую найти — это...

— Стой! — сделал я знак мальчику и указал вперед.

Мы нагоняли повозку, запряженную волами. А сидел в повозке человек, которого я сразу же, пусть и со спины, узнал.

— Тихо! Разыграем его сейчас.

Человек трясся в обнимку с транзистором, который говорил ему: «... перед сном. Полезно также обтирание холодной водой и далекие прогулки. Людям пожилого возраста следует...» Как, собственно, его разыграть, я еще не сообразил. Пожалуй, подкрасться сзади и крикнуть что-нибудь оригинальное, как кричу я обычно в повороте конюхам. Голос транзистора вперемежку с тархтением колес и скрипом ярма, кажется, вполне заглушал наши копыта. Но человек тоже, верно, спиной чувствовал наше приближение и обернулся. И вместо розыгрыша я крикнул:

— Артемыч!

— Мастерам! — отозвался он, и сразу видно было обращение искушенного лошадника.

Это был знаменитый табунщик, Герой Труда, бригадир, в литературе не раз описанный.

— Лапшу вот ребятам везу, — объяснил он, почему тащится на волах, а не гарцует на своем Абреке, не менее знаменитом, чем его хозяин.

— А мы ведь к тебе в табун едем.

— Слушай, — обратился он ко мне, — программки у тебя нет?

И опять сказался истинный конник. Ну, конечно, есть! Чем еще доставить удовольствие настоящему коннику, как не старой программой скачек, «отмеченной», то есть с указанием результатов, мест, резвости и со всякими прочими существенными пометами на полях. «Резво приняли», «Тупо ехал», «Просидел», «Хорошо вырвал», «Встал в обрез» — и этого достаточно, чтобы перед взором знатока встала сверкающая картина большого скакового дня. Копыта прозвучат у него в памяти, и шелест страниц, уже пожелтевших, донесет до него шум трибун. Такие программы, несколько штук, припасены были у меня еще с осени. Одну я отдал Шкурату: пусть себе составляет свои протоколы! И вот еще одна пригодилась, перейдя в достойные руки. Артемыч спрятал тоненькую брошюрку на груди, предвкушая разбор программы и разговор по охоте.

В табуне мы были к вечеру. Уже стемнело. Гор нельзя было видеть, но зато были звезды. Слепительное небо нависло над нами. Вот где осознавалась высота! Шумела река, рядом вздыхал верблюд, положенный на ночь у табунщицкого домика со связанными коленками. Лошади, как и горы, были скрыты где-то во тьме.

— Ну-ну, — и Артемыч, засветив фонарь, уселся в домике за стол с программой.

Он надел очки, но глядел в программу почему-то поверх очков, повисших на кончике его носа.

— А Михалыч все еще скачет! — усмотрел он в пятой скачке.

— Скачет, чтоб его...

— Что вы с ним, не того?

— Мы с ним Фордхэм и Арчер.

— Понима-аю, — произнес старый табунщик, постепенно постигая самые свежие страсти, кипевшие в нашем мире, и заражаясь ими.

— А что, Коля, — обратился он вдруг ко мне, достаточно начитавшись программы, — есть сейчас жокеи?

— Ты же видишь: мастер-жокей, мастер-жокей, жокей первой категории.

— Но ты понимаешь, что я-то не об этом тебя спрашиваю?

— Мне отвечать трудно: сейчас я сам жокеем считаюсь...

— Ну вот я тебя и спрашиваю, устоял бы ты против Головкина?

— Это, я тебе скажу, ваш стариковский разговор: «Ах, если бы из-под земли поднять да на прежних лошадях посадить, где бы они, нынешние, были!»

— А что ты на это скажешь?

— Трудно сравнивать.

— Хорошо, тогда я тебе скажу. У меня это ведь все перед глазами, как сейчас... Головкина, правда, я не застал, да и в столицах я тогда не был, но Чабана,^[22] особенно по Ростову, помню.

— В том-то и дело, что ты говоришь — «как сейчас», а на самом деле это было сто лет назад!

— Хорошо, дорожки другие, повороты иначе заложены, поля (количество участвующих в скачке) изменились — это не сравнишь. Но чувство, чувство-то у меня в памяти осталось. И знаешь, что я чувствовал, когда на Чабана смотрел? У меня коленки дрожали, у меня слезы наворачивались, я одно только думал: «Вот это жокей!» Понимаешь, он жокей, а я нет — вот что я понимал. А ведь и я мог в Деркуль^[23] пойти и диплом получить. Но я понимал, что жокей — это Чабан, а я не Чабан! И все! Тогда ведь никаких таких «категорий» в программке не указывалось, и «мастеров» не было. Одно писали: «Жокей». И все понимали, что написано: «жокей Чабан» или «жокей Дудак», и это значит, я не жокей, ты не жокей, никто из нас не жокей, кроме него одного!

— Разве бездарных жокеев тогда не было?

— Да я тебе не об том говорю! Я говорю тебе, как на жокея смотрели. Не каждый может жокеем быть! — вот что хорошо понимали. Словом, знали место свое. Конюх ты и будь конюх, я вот табунщик и как есть табунщик. А уж если жокей... Ты понимаешь, не в том дело, классный или бездарность, а в том, что жокей есть жокей, а не вчерашний конюх, сегодня получивший звание жокея. А вот он, — указал он на мальчика, у которого глаза уже слипались, — он наверняка мечтает жокеем-чемпионом сделаться!

— Мальчишки всегда мечтают.

— А я не мечтал? — говорил Артемыч. — Я трепетал, а не то что мечтал! Я же говорю тебе — плакал... Помню, привели мы весной молодняк в Ростов. Я конюшениным мальчиком был у Рогожина. Кстати, жокей очень средний, просто посредственный, скажу тебе, жокей, но даже и у него — за счет отражения лучей таких светил, как Чабан, Дудак или Шемарыкин, — было в езде что-то такое, чего и у тебя нет, и вообще уже, может быть, ни у кого больше не будет. Жокейство какое-то заправское было — это уж точно. Так вот, выезжаю я утром Элеонору от Элеватора шагать после скачки — она тогда на Большой Кобылий второй осталась за Опекуншей — и смотрю, Чабан галоп Хризалиту делает. Мимо меня он

тогда проехал. Взглянул я, как он сидит, нет, как смотрится в седле, и у меня слезы навернулись. Нельзя было сказать, сидит он, стоит на стремянах, держит ли повод, — он, одно слово, жокей. Зрелище было — вот что я тебе скажу. И я заплакал. Мне и радостно, что я вижу такое чудо, и тяжело как-то, что мне того же не дано. А был бы на моем месте вот этот, — опять указал он на мальчика, — уж он бы просто подумал: «Вырасту, выучусь и вот так же поеду!» А ведь все можно — и вырасти, и выучиться, кроме одного — быть жокеем!

— Что ж, Артемыч, я сам тебе скажу, что и мне хотелось бы остаться образцом. Но нет, время идет, и каждое поколение езду понимает по-своему. Я свою цель вижу в том, чтобы как можно дольше оставаться Насибовым, тем, которого считают Насибовым. А то, знаешь, один мой знакомый, жокей-американец, хорошо сказал: после того как тебя начинают считать лучшим, на самом деле далеко не всегда едешь лучше всех. Так вот я не хотел бы себя обманывать и других...

— А ты говоришь — первая категория, ездоки, мастера... Ведь все эти категории говорят о чем? Что сегодня ты ездок, завтра тебе категория, послезавтра неизбежно мастер. А должны быть в голове у людей только две категории: жокей ты или нет.

— А я спортсмен, стипль-чезы буду скакать! — вдруг очнулся мальчик.

— Спать тебе пора, — ответил старый табунщик, — да и нам время.

Мы с малышом улеглись на нары вместе с отдохавшей сменой табунщиков. Артемыч же надел бурку и пожелал нам спокойной ночи.

— Я пойду возле барашков прилягу. Барашки у меня там в кутке, свои барашки, табунщицкие. Так я возле них сплю. Волков пугаю!

И он вышел из вагончика под звездное небо.

— Юсуф, — слышно было даже с дыханьем его, как он позвал дежурного табунщика.

Юсуф отозвался, и они поговорили о том, как ходит в ночи табун. Подумать можно было, будто они встретились друг с другом на тропе, рядом с домиком. На самом же деле табун, насколько я понимаю, ходил возле самого утеса Хасаут, где-то в вышине.

И мы с мальчиком провалились в бездну.

— Я и самого Сирокко помню, когда его сюда, в имение к Мантышевым, привезли, — говорил Артемыч наутро, когда мы поймали коней, поседлали и поехали наверх, в табун.

— А последний сын его, тот, что в Пруссию угнали, так с тем я прощался. Когда призвали меня, я домой заглянул и — на конюшню. Чувствую, что жеребца вижу в последний раз. За себя у меня страха не было, а вот его, подсказывает мне что-то, больше уж не увижу. И как сейчас помню. Солнышко светило, лучи через коридор по конюшне. Думаю, такого солнышка уж не будет. Зашел к жеребцу. С лошадьми прощаться осторожнее надо. Ударить может. Лошади разлуку сильно чувствуют. Расстроится и — ударит! Но я ничего особенного ему не показал. Заглянул в кормушку. «Проел?» Он смотрит. И я пошел. Ну-ну, — крикнул табунщик на своего бывалого Абрека, из-под копыт которого сорвался в пропасть камень, — дороги не разбираешь!

Мы поднимались на последнее плато.

— Да, — говорил Артемыч, — вся эта линия ушла у нас в матки. Жеребец нужен... Значит, вам с Драгомановым поручили жеребца такого купить?

— Раньше жеребят продать надо, а потом уж жеребца покупать. И какого жеребца? Сколько советчиков, сколько мнений... Покупать ли прежде всего родословную или же скаковой класс?

Вместо ответа Артемыч вдруг взмахнул плеткой.

— Гляди!

Горы. Кони ступали по краю утеса, подымавшегося над миром. Сказать «долина» или «пропасть» о том, что открывалось внизу, было невозможно.

Жеребята, с полгода как отнятые от матерей, скрывались где-то внизу, за уступами Хасаута. В ответ на посвист Артемыча табунщики, тоже в облаках висевшие, стали поднимать лошадей на плато, и одна за другой по над краем утеса возникали морды и гривы.

И мы погнали табун.

Что тут сделалось с мальчиком! Он улюлюкал и визжал, будто скакал тридцать стипль-чезов. Мы все, впрочем, сделались немного детьми — в полете на фоне гор, в седле, следом за полыхнувшим табуном.

Но тут случилась неприятность, нарушившая скачку-мечту.

Мы врезались в отару овец. Или отара в табун врезалась, как уж это получилось, что теперь говорить. Перемахнули мы через небольшой уступчик, а там овцы, которых быть в этом месте не должно. И началась молотилка! Овцы перемешались с лошадьми. Овцам бы разбежаться куда глаза глядят, и не было бы ничего особенного, однако эти косые, известно, куда одна пошла, туда и все, хотя бы и в огонь.

В огне и лошади, надо признать, ведут себя неразумно. Тогда в Америке на ипподроме Лорел близ Балтиморы начался пожар: страшно вспомнить! Лошадь ищет спасения в конюшне. Ее из огня не выгонишь. Так, целыми конюшнями, и гибнут. К счастью, в Балтиморе пожар начался не с нашей стороны. Но мы, конечно, туда на подмогу побежали. Первым, прежде чем прибыли пожарные, в огонь пошел Паша Боровой. Ему кричат: «Куда?!» Говорят: «Зачем?! Пожарные приедут, и, кроме того, лошади застрахованы, за все заплачено будет». — «Ох уж эти русские!» А тут говорят: «А почему, вы думаете, они и войну выиграли...» Паша добрался до одной кобылы, мексиканской, а у нее недоуздка нет. Полагается, чтобы лошадь стояла в деннике в недоуздке — на случай пожара. А иначе как ее выведешь? Паша вскочил верхом и как дьявол выскочил из адского пламени. Потом он же помогал эту кобылу на самолет грузить. Не идет по трапу, и все. С ней двое мальчишек-конюхов. Те просто плачут. Паша опять на нее сел и до половины въехал. Встала на пороге — и ни с места. Пришлось ноги ей руками переставлять. Еле втиснули. Мальчишки счастливы. Публика окружающая Пашке — аплодисменты. Фурор! А он еще на крыле самолета «Яблочко» сплясал.

Против огня и лошади беззащитны, вообще же против опасности они действуют решительно. Но ведь им не объяснишь, что овцы — это ничего страшного. А лошади промеж себя в табуне посторонних не терпят. Вот и началось! Овцы, будто бы спасаясь, в кучу стараются сбиться — это посреди табуна. А лошади... лошади и корову, и собаку, да волка целым табуном забьют.

Жалобное блеяние, конский храп, крики табунщиков и перепуганных чабанов, смешавшись, поломали сиявшую кругом картину. Когда же мы все-таки протолкнули табун вперед и отара своим чередом собралась, то на роковом месте остались жертвы нелепого столкновения: пара барашков, получивших копыто в лоб. Над ними стояли верхами мы все — съехавшиеся табунщики и пешие чабаны. Но особенного расстройства на лицах я не заметил.

— За нас работу кто-то выполнил, — произнес один из табунщиков.

Артемыч пояснил мне: сегодня, оказывается, праздник, конец стрижки,

и по такому случаю будет прямо здесь, в горах, сабантуй. «Разрешено было барашков зарезать, но вот видишь, как получилось», — сказал Артемыч. «И барашки подходящие, как по заказу», — заметили табунщики.

Жеребят мы гнали к «расколу». Это загон, на одном конце которого широкие ворота, а на другом узкое горло; калитка в одну лошадь и клетка, куда лошадь загоняют и запирают, чтобы осмотреть ее, обмерить, подковать, подлечить и пр. Нам же требовалось отобрать жеребят на экспорт, в Англию. Ковбои для тех же целей вместо «раскола» пускают в ход лассо и веревки. Они «откалывают» лошадь от табуна, отгоняют ее в сторону, заарканивают, валят на землю, вяжут и ставят тавро. Ну, у каждого народа свой подход к лошадям.

Над расколом встало облако пыли. Теперь жеребята, словно овцы, сбивались в кучу, старались держаться один за другого. С ними что-то сделать хотят, а что именно, им было пока неизвестно, и поэтому очень было им боязно. В табуне лошади ходят группами в три-четыре головы, а еще чаще по две. Их связывает дружба, основанная на симпатии, а также на взаимопомощи в исполнении разных мелких услуг. Спину же, например, хорошо, когда тебе почешут, или гриву разберут. «Вон-вон, гнедого того со звездой захватывай!» — кричали мы, но следом за гнедым как привязанный носился рыжий, нам, на экспорт, вовсе не подходящий. Сколько в самом деле нужно было расколоть сердечных уз, сколько нарушить дружб и привязанностей, чтобы отобрать подходящий молодняк. «У-у!» — подвывали табунщики, прыгая на месте и размахивая руками. Уж навывались и напрыгались мы с утра довольно и поэтому за праздничный стол усаживались с глубоким чувством исполненного долга.

И те несчастные, павшие на заре, были высыпаны как из рога изобилия из чана дымящимися кусками прямо на дощатый струганный стол. В чашках стояли крутой бульон и айран — бодрящий напиток предков из кислого молока. Хмельного Магомет не любил, как не признавал он и свинины. Мальчик из-за стола был едва виден, и, кроме того, в руках у него была баранья лопатка величиной чуть не с его голову. Я тоже, перекатывая в пальцах обжигающий кусок, охлаждал его пыл айраном. Один за другим подъезжали чабаны и табунщики. Кто пешком или на попутной машине, большинство же верхами, они, оставляя лошадей у коновязи, садились к общему столу.

Людей все прибавлялось, так что вместить всех не мог уже никакой стол. Однако не за угощением шли эти люди. «Скачка будет! Скачка!» — проговорил один старик, едва взобравшийся на плато. Отовсюду, будто по сигналу, шли люди. Никаких объявлений, никакой такой «рекламы» — в

горах и так все знают каждый шаг друг друга. А тут: «Скачка!» Со всех концов спешил к расколу народ. Ползли старики и младенцы. Скрипели арбы с волами. Гарцевали всадники. Посмотрели бы вы на эти лица, это движение людей, подчиненных властному зову: «Скачка!»

Вот конный спорт. Не говорю — выше, лучше, увлекательнее, полезнее или хотя бы древнее других он видов спорта. А только спрашиваю: «Любой другой вид спорта способен ли вызвать у человека все те чувства, как это: „Скачка будет! Скачка!“» Не одно только чувство соревнования или спортивный азарт, а все. Тем ведь и дорого, что все разом, чем жили и живут эти люди: чувство родины, чувство своего дома, своего дела и — спорта.

Скачку я почти не смотрел — подумаешь, три калеки! По стуку копыт я понимал: «До чего же тихо едут». Но главное, смотрел я на лица и думал: «Ищут где-то там ковбоев...» За столом все больше становилось людей. Подошел в широкополой шляпе худощавый темнолицый человек и вместо «Здравствуйте» пропел. Он песней как бы обратился к столу с вопросом. А стол сразу, будто ждал вопроса, хором ответил. Снова пропел на местном наречии ковбой, то есть табунщик, хотел я сказать, спрашивая все настойчивее.

Я оглянулся на мальчика, чтобы посмотреть, как понимает он песню и вообще все, что вокруг себя видит. Но стриженная голова лежала на руках, на столе, рядом с бараньей лопаткой, сильно покусанной и все-таки далеко не приконченной.

Снились мальчику, должно быть, ковбои и Большой Ливерпульский стипль-чез, который он выигрывает — один, оторванно, в руках.

— Ну, приходи на тренерскую, — сказал я на прощание своему спутнику, — на прикидку посажу!

Сознательная жизнь скаковой лошади начинается рано, с малых лет. «Жеребенок воспитывается уже в брюхе матери», — так говорят коневоды о судьбе кровной лошади. Полудикие или же простые лошади гуляют недорослями, хомут, седло они, как диковину, видят уже здоровыми молодцами, заездка таких лошадей дело грубое, их и называют «обломами». Но конь, чья судьба еще до рождения расчислена по племенным книгам, не делает как-нибудь ни одного шага. В самом деле, когда жеребенок еще в утробе, кобылам, которые на сносях, устраивают специальные прогулки. Жеребенка ждут, его стремятся предвидеть, угадать, какой же он будет. А некоторые знатоки-конники с особенным чутьем поистине знают все заведомо — и масть, и приметы, и сложение. Стоит новорожденному показать какой-нибудь нор, в чем-то проявить свой характер, они сразу скажут: «Весь в отца!» Или: «Приплод этой линии всегда был подуздоват». И начинается вокруг жеребенка священнодействие, которое поначалу состоит лишь в уходе и наблюдении, но недолго малыш ходит баловнем. Очень скоро надевают ему недоуздок, затем уздечку, а едва только исполнится ему полтора года, узнает он, что такое седло. Детство лошадиное кончается, наступает юность, и она не затягивается, ведь с двух лет лошадь на ипподроме, а в три-четыре года должна быть готова к решающим испытаниям, крупнейшим призам.

— Приходи прямо к четверем, — велел я мальчику.

И с рассветом был он на конюшне. Он как раз годился во всадники одному молоденькому жеребенку.

— Осаживает, — предупредил меня насчет этого жеребейка конюх.

Осаживает, то есть вдруг начинает пятиться, значит, десны болят, и конь боится взять удила.

— Работай поводом мягче, — велел я новому жокею.

Сидели на лошадях одни мальчишки. Весна в воздухе. Сколько электричества играло в каждом мускуле у коней и ездоков!

— Не гнать! — сказал я поэтому с особенной строгостью. — Ехать ровно и по дистанции не резаться. Выпустите вовсю только концом.

Копыта грохнули, и стайка понеслась. Когда облако пыли от них отстало, сделалось видно, что тренерский наказ не совсем выполняется.

Тот, кому следовало вести скачку, прозевал старт и застрял где-то в середине и теперь, стараясь выбраться вперед, высылал свою лошадь с лишним пылом.

— Безрукий парень! — заметил бывалый конюх.

Первым оказался малыш. Ему приходилось нелегко, потому что жеребенок его не хотел брать повода и кидался из стороны в сторону — следом за лошадьми он шел бы ровно. Наконец намеченный мной лидер выбрался в голову скачки. Но тут жеребенок под малышом прыгнул в сторону, помешал шедшему за ним «лидеру», малый на нем закричал, малыш от неожиданности дернул поводом и... «Осаживает!» — закричал конюх и, видно, зная, как уж этот проклятый жеребенок осаживает, бросился ему наперерез. Мы взяли этого стервеца в бичи, чтобы заставить его двигаться вперед. Но у малыша, сидевшего в седле, не хватало опыта, умения, и он, чем упорнее кружился жеребенок на месте, тем сильнее дергал поводом.

— Повод! Брось же повод! — кричал я ему.

И тут жеребенок, попятившись, вскинулся на дыбы, потерял равновесие и грохнулся навзничь.

— А-а! — вырвалось у нас с конюхом.

Малыш-всадник очутился под конем. Жеребенок, конечно, хотел было тут же вскочить, но конюх в один миг умелым приемом сел ему на голову: если голова у лошади прижата к земле, она не подымается, если же хотя бы уши приподняла — уйдет! А если уйдет, а если нога у мальчишки застряла в стремях... Мы вытащили мальчика из-под лошади. Он хрипел и на крик наш не отзывался. Конюх на той же лошади ускакал за помощью.

Вместе с машиной примчался директор. Он тряс кулаками у меня перед лицом и твердил:

— В тюрьму! В тюрьму пойдешь! Техники безопасности не соблюдаешь, мм-астер! Кто тебе, дуrolому, позволил такого мальчонку сажать?

Потом, в пути, он несколько остыл и сказал:

— Испортил ты ему будущее. Ведь мы хотели его в Англию послать, на соревнования юниоров... Вот ты ему Англию и устроил! О-хо-хо, откуда я теперь такого же способного возьму? Сколько забот — и на одну голову.

В районной больнице мальчика, дышавшего тяжело, с тихим посвистом, сразу унесли в кабинет. Спустя некоторое время вышел врач и спросил:

— Родители здесь?

Директор поднялся и, разведя руками, едва слышно произнес:

— Родителей-то нет... Он детдомовский, так, с одной бабкой живет у нас...

Тут я вспомнил, как говорили мы с ним в горах про стипль-чезы и он погрузнел, когда я сказал, что, садясь в седло, вспоминаю своих ребят. И что же это я его не спросил, чей он? Я привык, что с каждым приездом в завод встречает меня новая поросль конников. Я не знаю их и не спрашиваю, кто они, но узнаю по фамильным чертам. Что мне спрашивать, когда вижу, что вот, например, Чикин. Лоб Чикин, нос Чикин, и разговор Чикин. «Здравствуйте», — тянет. Ну, Чикин. А это Хиса, стандартbred^[24] Хиса. Какой только Хиса, и брата оба Хисы. «Эй, Хиса! Как Хиса-большой, в порядке?..» А этого-то малыша я как-то не спросил и не задумался, каких же он кровей. И вот оказывается, это почти что я сам: родителей-то нет... И ему я «устроил Англию».

— Пролежит не меньше месяца, — слышался голос врача.

— Дело наше такое, конное... Опасное дело. На лошади сидим, как под богом ходим, — бормотал в ответ ему директор.

Часть третья
Железный посыл

Драгоманова в порт приехала провожать старушка, его жена. Она тыкалась ему в плечо и повторяла: «Женя, побереги себя! Женя...» Драгоманов возвышался перед ней молча, навтыяжку.

Мы ждали погрузки. Ростовские вагоны с лошадьми уже были пригнаны в порт. Польский корабль-скотовоз стоял у причала. Английский торговый агент находился на месте. Но мы не понимали друг друга — переводчик еще не пришел.

Условились встретиться в семь утра: договоримся о последних деталях и — в путь! Но переводчика все не было. Агент вышагивал по дебаркадеру с важностью, однако видно было, что нервничает, опасается, как бы не пришлось оплачивать простой судна. И правда, постукивая пальцем по часам, капитан говорил:

— Панове, Панове, отваливать самый час! План! Ведь у нас такой же план, как и у вас...

Драгоманов сказал:

— Моменто, товарищи и господа!

Взял трубку. И, когда в трубке хрустнуло, спокойно спросил:

— Ты спать еще долго будешь?

И, не дожидаясь ответа, трубку повесил. Действительно, вскоре явился малый, видно, что вскочивший с постели, наспех умытый и едва причесанный. Он заговорил с агентом с места в карьер. Быстро-быстро. По-свойски. Так, будто знают они друг друга уже давно. Тысячу лет. Будто он ему сват, брат, отец родной. О чем они говорили, кто знает! Но со временем можно было разобрать такие слова: «Шейкс-пир, Пушкин энд Достоевский». Произносили они их одинаково, очень старались, закидывая головы вверх, будто лошади от жесткого повода.

Драгоманов молчал. Что же это он? О чем они? Нам же уточнить нужно...

Драгоманов наконец сказал малому:

— Спроси, тара наша или ихняя?

Переводчик остановился, помолчал, а потом воскликнул:

— О дьявол! Забыл, как по-английски «тара»!

Агент смотрел на нас, выкатив глаза. Потом сам догадался, о чем речь.

— Боксы, боксы! — затараторил он.

И показал жестами, что боксы, то есть погрузочные ящики для

лошадей, берет на себя фирма. Дела! Ждали толмача два часа, а теперь объясняемся, как дикари, руками.

— Ты что, знаешь этого агента? — спросил я у переводчика, потому что очень уж по-свойски они беседовали.

— В первый раз вижу...

Но вот портовый кран взмахнул стрелой и двинулся по рельсам к борту корабля. Первый бокс с лошадьёю повис над палубой. Старушка стояла, закинув голову и глядя, как ее Женя испытывает процесс погрузки вместе с лошадьёю. Драгоманов сам поднимался и опускался в трюм, на твиндек^[25] с особо нервными жеребьятами.

Затем начал грузиться Фокин, тот самый, знаменитый кучер Фокин, что ехал на тройке по Бродвею. На этот раз тройка его отправлялась вместе с нами в Англию, потому что на открытии торгов должен был быть показ национальных реликвий.

— Как же ты, Вася, на тройке по Бродвею-то ехал? — однажды я у Фокина спрашивал.

— Очень просто, — отвечал он со своим волжским «о». — Только тронул — все машины замерли, а потом мне гудками салют сделали.

Процедура с ним была — документы оформлять.

— Расписывайся, Вася, — велел начальник кадров.

Тут великий Фокин побледнел, потом у него на лбу пот выступил, он сдвинул свой кучерской картуз на затылок и, чуть язык не высунув, стал выводить буквы.

— Вот, — даже с каким-то отчаянием говорил тем временем начальник, — так каждый раз. Вчера человек из Бомбея прилетел, сегодня в Лондон отправляется, а роспись свою поставить не может. Н-нет, надоел мне этот стародедовский стиль на облучке. Я думаю о том, чтобы человек с высшим образованием, да еще со знанием языков, за вожжи взялся. А тебя, Вася, предупреждаю, если ты к следующему разу грамоте не научишься, оставлю дома! Предупреждаю!

Но, должно быть, начальник и сам понимал слабость своих угроз, потому что запросы на Фокина приходили на таком уровне, что дома его оставить было просто невозможно. Фокин ездил на коронации, президентские выборы, один раз даже на чей-то национальный траур. Его тогда вызвали телеграммой за несколько часов до начала церемонии, да еще дома застать не могли, он куда-то в поле выехал тренировать свою тройку, так что буквально из-под Юрьева-Залесского оказался он в Копенгагене, откуда транзитом должен был следовать на самолете «Люфтганзы» еще куда-то, с пересадкой в Мадриде.

— Как же ты, Вася, выжил? — я его спрашивал.

— А возле лошадей, — заокал он, — я не пропаду. От них я ни на шаг и — спокоен. С лошадьми везде и почет и дорога. Тогда у Форда я работал (он начинал парад автомобилей, причем в экипаже, в котором нашего Лебеда еще в четвертом году на Чикагской выставке показывали), так мне предлагали: «Мистер Фокин, может, в театр или на Майами-Бич вас свозить?» Я говорю: «В театр лошадей с собой не поведешь, так что уж лучше я дома отдохну».

— Ну, как он вообще?

— Форд-то?

Фокин махнул рукой:

— Скуповат. На овес не допросишься.

Спрашивал я у него и о том, как же это он без малейшего образования остался? Он ответил без объяснений: «Война». Ну, а что до людей с высшим образованием, так ведь с кучерским образованием другого Фокина все равно не найдешь. И сейчас, на погрузке, невооруженным глазом видно было, что за Фокин. Помните, в сказке:

Но дорогой, как на смех,
Кони с ног их сбили всех,
Все уздечки разорвали
И к Ивану прибежали.

Так и фокинская тройка грузчикам и на арканах не давалась. Но вот он сам свистнул и — «кони пляшут трепака». Это был человек с таким уникальным прирожденным чутьем к своему делу, что «образовывать» его просто нечего.

Следом за тройкой грузили пару призовых рысаков, с которыми ехал известный наездник, любимец публики Вукол Эрастович Р. Называть я его полностью не стану, хотя ничего плохого говорить о нем не собираюсь, но человек он знаете какой...

— Любезный, — окликнул он переводчика, — скажи-ка мне, любезный, ты языками какими владеешь?

Переводчик, по обыкновению своему, вопроса сначала не понял, а потом сказал:

— Английским.

— И это все? — продолжал свои вопросы Вукол Эрастович.

Переводчик опять не сразу понял, но все-таки спустя немного сказал:

— Ну, по-французски, если нужно, смогу, пожалуй, объяснить.

— А немецкий?

— Вот немецкий ни слова не знаю.

Р., услышав это, такое лицо сделал, что переводчик просто всполошился:

— Но английский — свободно, свободно, вы знаете...

— Что ж, английский, — сказал Р., — один английский! В мое время молодые люди все, абсолютно все, языки знали как свои пять пальцев.

Переводчик стал перед ним просто извиняться за свой один только английский язык.

— Ну ничего, что ж делать, — отвечал Р. таким озабоченным тоном, будто языки для нас были главное, будто он сам в Англию отправлялся не на Королевский Приз ехать, а в парламенте речь держать, — ладно, сойдет, как говорится.

Переводчик ожил. Между тем Р. ему сказал:

— Прошу тебя, ты меня очень одолжишь, если попросишь агента — надеюсь, по крайней мере, на это запаса слов у тебя хватит, — чтобы он пива мне в каюту поставил.

Переводчик уж приналег на агента по-свойски, говорил «Шейкс-пир», еще чего-то говорил и в конце концов, видно, перестарался. Пришел к Вуколу Эрастовичу и доложил:

— Агент хочет знать, вам «Гиннес», «Лайт» или «Медиум»?

— Э, друг, — поморщился Р., — тебе самому, кажется, переводчик нужен. Ты и простого человеческого языка понять не можешь. Я же сказал тебе, сказал пи-ва, пива мне! Понял?

— Панове, на борт! Панове! — позвал тут, однако, старпом. — Через минуту отваливаем.

Делая буквально последний шаг по дебаркадеру, я вдруг услышал рядом голос, показавшийся мне знакомым.

— У вас просто настоящий конный ковчег.

Я обернулся и увидел, что это фельдшер, тот самый, что в горах нам дорогу показывал и в столицах не бывал. Он сопровождал лошадей с завода.

— Ну как, посмотрели теперь метро? — спросил я.

— Да нет же, — отвечал он, — от лошадей как же отойдешь. А у вас ковчег: все виды лошадей имеются.

— Па-нове! — еще раз позвали нас с корабля.

В сутолоке мы и не заметили, как оказались в море. Однако не до моря нам было, а впору к берегу вплавь добираться обратно. Доктор документы

забыл. Или он их выправить не успел. Короче, лошади наши теперь плыли как беспаспортные. Со временем, конечно, все на торги пришлют, и сейчас он на таможне на своей договориться сумел, а вот что будет, когда в Англии ветосмотр явится и скажет: «Поезжайте домой!»

Вас интересует, наверное, как чувствуют себя в море лошади? Но вы бы лучше посмотрели на нас! Все, все полегли до единого: море, едва только покинули мы порт, поднялось дыбом и пошло нас кидать, как игрушку.

— Должно, кто-то из матросов на берегу за ночь не заплатил, — сквозь зубы сказал боцман.

— Как это?

— Да так, примета есть: не заплатил моряк за постой, с него в море взыщется.

— Ох, это не матрос, — сквозь зубы стонал Драгоманов, — это доктор документы забыл.

Серая пелена кругом, седые валы, а внутри, в душе, уж такая муть, что хоть наизнанку выворачивайся. Фокин лег мертвым телом. Он, надо сказать, так до берега британского и не вставал. Он вообще страдал «морской болезнью» на всех видах транспорта, и сухопутных и воздушных. Его мутило в самолете, в автобусе у него кружилась голова.

— А на пролетке, Вася, как же ты сидишь?

Но он только приподнял голову, взглянул на нас глазами затравленной овцы и — ни слова.

Зато Вукол Эрастович не умолкал. Он да переводчик причала, кажется, и не покидали. Шторм, от которого сам пан капитан помрачнел, на них не оказывал ровно никакого воздействия. Вукол Эрастович размышлял вслух, а переводчик не отрываясь просто в рот ему смотрел, ловя каждое слово.

— Былое время, — говорил Вукол Эрастович, — ах, былое время!..

А переводчик в ответ на это вздыхал так, что слышно было даже сквозь рев волн и гул всех четырех дизелей, которые, напрягаясь до последней степени, старались выгрести против осатаневшей стихии.

— Пиво, — вещал Эрастыч, — пиво было такое, что вам уже не пить больше такого. Впрочем, хорошо бы капитан и этого еще нам отпустил. Оно ничего, оно мне на память приносит былое. Похоже на пиво братьев Буренковых.

— Зачем ты эту контру в Англию везешь? — поинтересовался у Драгоманова капитан.

— Мастер, — отвечал Драгоманов.

Но в эту минуту отворилась дверь, и с порога закричал матрос:

— Панове, ваши лошади околевают!

И мы поползли. Говорю это буквально. Вообще море заставило нас испытать на себе силу слов, которые мы все произносим, однако не очень в них верим. Шторм, что такое шторм?

Едва только мы высунули нос на палубу, чтобы спуститься в трюм, как волна высотой с дом встала над пароходом и рухнула на эту самую палубу.

— У борта не смей показываться! — но своим голосом накричал на нас капитан. — В прошлый раз у нас стивидора к чертям смыло.

— Как это — к чертям? — тоже не совсем своим, уверенным, голосом переспросил Эрастыч, забывая узнать, а что значит «стивидор». — Каким чертям?

— Морским.

— И... и?

— Ну, человек за бортом. Дали полный стоп вкруговую, маневр такой, возвращающий судно в точности на прежнее место, да где там... Прежде чем он за борт попал, его, наверное, о лебедки стукнуло. А вы сами видите, что за сила. У меня один раз на палубе контейнер в сорок тонн оторвало и пошло метать по всему судну, как игрушку.

— Часто это бывает?

— Бывает... Однажды полный пароход пацюков вез, так ни одного в живых не осталось. Всех в шторм побило.

— Каких пацюков? — решил все-таки выяснить Эрастыч.

— Кабанчиков, свиней то есть... Привез готовую тушенку.

«Человек за бортом», «полный вперед» — так вот слышишь, читаешь, а попробуй-ка лицом к лицу, когда это не слова, а шаг-другой и — кипящая пропасть. Однако что же делать, там, в трюме, — лошади!

Мы поползли. Первым, как и полагалось, в трюм спустился доктор, за ним — Драгоманов, потом мы с Эрастычем, а переводчика еще волной обдало.

— Представьте себе, молодой человек, что вы пересекаете экватор, — сказал ему Эрастыч.

В трюме было конное царство. По всему пространству, едва освещенному фонарем, мечущимся у потолка, видны были конские морды. Как по команде, повернулись они в нашу сторону и только что не сказали: «Что же это вы с нами делаете?!»

Доктора, как только выпустил он из рук перила, метнуло в сторону и ударило о какой-то крюк.

— Хорошо, да маловато тебе, — прошипел Драгоманов.

Доктор отдышался и пополз дальше, выискивая среди лошадей особо

павших телом и духом. Но мы ведь тоже оторвать рук от перилец были не в силах.

Наконец нашли мы доктора возле молоденькой кобылки, повисшей задними ногами на перекладине. Видно, она стала от страха биться и застряла. При хорошем ударе волн у нее могла оторваться вся задняя часть туловища. «Кобылка-то ценная, — простонал Драгоманов, — дочь Памира». Конечно, это не сорок тонн, а килограммов четыреста, но это же не ящик, а живой вес! Арабы говорят, что у лошади четыре части тела широкие — лоб, грудь, круп и ноги; четыре длинные — шея, плечо, ребра, голени; четыре короткие — спина, бабки, уши и хвост. Мы свои усилия так и распределили по этим частям. На каждого пришлось по одной длинной, одной короткой и одной широкой.

— Товарища переводчика притиснуло, — сообщил Эрастыч.

— Не суйся куда не просят, — сказал ему Драгоманов, когда мы достали его, слегка испуганного, из-под лошади.

Мы двинулись с осмотром дальше. Следующий обнаруженный доктором случай был много сложнее: лошадь села на ноги. Это так говорится. Это отек конечностей. И лошадь, действительно не в силах стоять, оседает. Причина — опой. Но как это получилось — кто знает? Может быть, на погрузке жеребенок разнервничался, взмок, а ему, потному, моряки по неопытности дали воды. У лошади механизм такой, что сердце едва справляется со своей работой.

По сравнению с мощью всего организма сердце у лошади оставляет желать много лучшего. Особенно боится оно воды — лишней и не вовремя. Выход при этом один — пускать кровь, чтобы облегчить работу живого «насоса».

Нас кидало и швыряло, будто мы были клоунами в цирке. Доктора нам удалось кое-как привязать канатом над лошадью. «В крайнем случае, — заметил ему Эрастыч, — если неприятности по работе будут, пойдешь акробатом». Сами же мы старались изо всех сил удерживать лошадь в одном положении. Сверху доктор, как индеец, целился ей в вену шприцем. Наконец он ударил. Из-под иглы брызнула темная струя, залившая светло-серую шерсть.

— Держи, м-мерзавец! — закричал Эрастыч на переводчика, который все никак не мог поймать эту струю горлышком большой колбы.

— Тебя, — сказал между тем Драгоманов доктору, когда мы его уже отвязали, а лошадь спокойно переступала ногами, — либо утопить, либо шкуру с живого спустить было бы абсолютно не жаль, но на всем нашем коневодстве лошадей тогда некому будет лечить.

— Дело знает, — подтвердил Эрастыч, у которого похвалу, кроме как в его же собственный адрес, на веревке не вытащишь.

Да, это редкость — знающий дело, а не просто при деле находящийся. Таких-то довольно! Нет, знающий дело — чувствующий лошадь, как самого себя.

После врачебного обхода, или, я бы сказал, прополза, мы устроились там же, в трюме, на кипах сена. Стоны, храп, кровь — это было позади, и казалось, море буйствует уже не так дико. Но капитан по-прежнему был мрачен, валы высоки, барометр низок. На вахте, как на картинке, стоял старпом и, глядя в бинокль, говорил, будто в книжке:

— Так держать!

Перевели мы дух только в Гамбурге, который был первой стоянкой на нашем пути. Пароход встал под погрузку. В трюм начали опускать автомобили, а на палубу ставить цистерны, на которых были таблички с указанием: «При температуре воздуха свыше двадцати пяти градусом бросать за борт».

— Вы, молодой человек, не путаете? — спросил Эрастыч у переводчика, который и прочел нам эту надпись.

— Узнайте у капитана.

Но капитану было не до нас. Портовые краны вдруг замерли, прекратили свой визг лебедки, один «паккард» так и повис над трюмом — ни одного грузчика не осталось на погрузке.

— Забастовка, панове, забастовка, — твердил обеспокоенный капитан.

Тоже вот, слово слышали, и вдруг, пожалуйста, забастовка!

— Вы и не представляете себе, что это такое, — говорил капитан. — Это, по меньшей мере, две недели ни одна рука к нашим грузам не прикоснется. А мне по плану за эти две недели нужно сходить в Абердин за шерстью и гусятиной и идти к Бейруту.

— Чем же они недовольны?

— Да не они это именно, а весь профсоюз объявил забастовку — и баста! Солидарность — понимаете?

— Идем, — вдруг сказал Драгоманов переводчику и решительно направился к грузчикам.

— Но я по-немецки ни слова, — пролепетал переводчик.

— Дармоед, — определил его Эрастыч.

Махнул Драгоманов рукой и один спустился на причал. Бригадир грузчиков (он-то и называется стивидор) стоял неподалеку у крана.

— Нихт гут, — ветер донес слова Драгоманова. — Нах Лондон. Пферде! Пферде!

И краны задвигались. «Паккард» пропал в трюме. Палуба ожила. Через час погрузка была окончена. Грузчики попросили только разрешения посмотреть лошадей.

Вместе с ними спустились мы в наш конный ковчег. Вошли они не сразу, а совсем как наши стрелочники, только не снизу, с путей, а сверху, через люк, стали всматриваться в затерянный мир. Потом один за другим стали нащупывать ступени. «О, рейзенд! — раздалась басовитые голоса. —

Майн херц! Даст ист лебен!»^[26]

— Что они говорят? — спросил переводчик.

— А ты не видишь? — сказал Эрастыч, указывая на грузчиков.

Один старался скормить лошадям свой завтрак, другой обхватил жеребенка руками за шею и спрятался лицом в гриве.

— Травить носовой шпринт! — тем временем звучало на судне по радио. — Поднять дек! Корабль выходит в море!

И это был голос самого капитана.

* * *

Волны трясли пароход. Фокин которые сутки подряд не мог принять пищи ни грамма. Вукол Эрастыч с переводчиком непрерывно вспоминали былое — все находились на своих, уже привычных для нас местах, когда вдруг раздалось опять, будто по книге: «Земля!»

— Земля, Панове! — говорил старпом. — Подходим до Альбиону!

Мы побледнели. Сейчас настоящая буря и начнется, когда придет таможня и ветосмотр.

— Что это вы приуныли, панове? — спросил капитан. — Уже ностальгия? Рановато, хотя столь же нормально, как морская болезнь. Но обычно ностальгия начинается через неделю.

— А у нас, — сказал Эрастыч, — как таможня придет, так сразу и начнется.

— Что вам таможня, — отозвался капитан. — Формальность! Вы же не везете контрабандой наркотиков?

— Наш доктор приготовил кое-что покрепче этих жалких наркотиков.

Между тем Драгоманов молча, с лицом суровым и с песней «На рысях на большие дела...» брил переводчика. Потом он стал повязывать ему галстук.

— Вы его женить тут собираетесь? — обратился к нему Эрастыч. — Или же, по православному обычаю, напоследок приодеться решили? Так, вероятно, нам всем надо белье сменить, прежде чем мы все, так сказать, публично... Вы меня понимаете?

Пыхтя, подвалил к нашему борту катер с удивительно блестящими медными поручнями и столь же блистательными улыбками на лицах таможенных чиновников.

Капитан их приветствовал, а они спросили то, что и без перевода понятно:

— Документы на груз?

Тут Драгоманов как с цепи спустил бритого и при галстукe переводчика. Принял этот малый примерно в тридцать, а с поворота пустил вовсю — так чесал он языком. На финишной прямой он уже работал в хлысте. Он и по ребрам бил, и в пах доставал. Он, чувствовалось, лупцует с обеих рук.

— Пушкин, — говорил он, — Шейкс-пир энд Достоевский!

Самый старший из англичан сел к столу и снял фуражку, обнажив поросычье-розовую лысину. Даже в капитанской каюте стало как бы светлее. Другие же, напротив, вытянулись, как на похоронах. Потом старший поднялся и сказал: «Идем!» Опять спустились мы в трюм.

Грузчики Гамбурга лошадeй обнимали. Таможенники Лондона встали перед лошадьми на колени.

.....

.....

После всего Драгоманов мне сказал:

— За это его и держу: слово знает!

Слово я и сам могу сказать, поэтому я поинтересовался у переводчика, чем же это он англичан до слез довел? А он в самом деле подтвердил:

— Главное — найти точное слово. Затем сделать единственно верную фразу. Большую часть можно опустить. Подразумеваемое действует так же сильно, как сказанное...

— Да, — подтвердил Эрастыч, — я такой рецепт знаю, читал. Одна восьмая с водой и со льдом. Но я предпочел бы семь восьмых на глоток воды, а льда вовсе не нужно.

Едва мы успели коснуться берега, как нас окружили газетчики. Вопросы были обычные: «Трудно ли выбраться из-под „железного занавеса“?» и «Нравится ли вам „свободный мир“?» Но потом меня попросили поговорить с редактором скакового отдела известного спортивного журнала.

Это был уже немолодой человек, спокойный, семейный, видевший все, что следовало видеть на скачках за последние тридцать лет. Ему достаточно было напомнить, как он уже подхватывал: «Ну да, в последнем повороте Люциано подходил к вам, но вы сделали поразительный рывок». (Это тогда, на Кубок Европы.)

знаком он был со многими знаменитыми писателями, интересовавшимися скачками, дружил с Хемингуэем, а с Фолкнером даже сотрудничал, составляя отчет о Дерби в Кентукки за 1955 год, когда абсолютный фаворит Нашуа, от Назруллы, ко всеобщему изумлению, проиграл.

В этом человеке самое интересное было — это стремление понять другого. Видно это было хотя бы по тому, что иногда он честно говорил: «Этого понять я не могу».

Он меня спрашивал:

— Как же у вас скачки существуют без рекламы по телевидению?

Я объяснял. Он вздыхал:

— Трудно понять человеку со стороны.

Потом он спросил:

— Почему вы, советский жокей номер один, не приезжали до сих пор в Англию на скачки и сейчас приехали всего лишь на аукцион? Вы же победитель Кубка Европы, призер Вашингтонского Кубка и Триумфальной Арки, но в Эпсоме на Дерби не скакало от вашей страны еще ни одной лошади.

— Дерби — это Дерби. Воспитаем достойного участника — приедем. Но вы же, наверное, знаете, что троеборцы наши удачно выступали в Англии...

— Н-не знаю...

— Как это может быть? Вы же эксперт по скачкам!

— Вот именно! Мое дело скачки, и никаких троеборцев и конкуристов для меня не существует. Друг мой, вы не у себя дома. У нас каждый должен

знать свое место. Что, трудно понять это со стороны?

И то же самое у нас с ним получилось, когда попробовал рассказать ему про лошадей, которых мы привезли на продажу. Корреспондент изменился в лице:

— Прошу, больше ни слова об этом. Хорош бы я был, если бы шеф узнал, что я тут с вами беседую о рысаках. Это же наши злейшие враги! Слава богу, их в Жокей-клуб не допускают. Я не понимаю, как вы могли приехать в компании с кучером и призовым наездником.

— Трудно объяснить человеку со стороны.

— О да! Это верно, хотя и грустно.

— А вам можно вопрос? — обратился к нему переводчик.

— Ради бога.

— Хемингуэй какой был?

— С ним было очень трудно, когда он бывал не в духе.

— А Фолкнер?

— Совсем другой. Но и с ним было трудно. Провинциален, болезненно застенчив, что было, конечно, оборотной стороной самолюбия. В скачках ни тот, ни другой не понимали ровным счетом ничего, хотя это не помешало им написать о лошадях прекрасные страницы.

Прощаясь, он сказал:

— Прошу вас, ни слова о том, что мы тут говорили с вами о рысаках.

В это время на дебаркадер прибыл конный автобус с надписью «Лошади Ротшильда». Эрастыч сразу угадал:

— От Веллингтона?

— О, маэстро! — эхом отозвались конюхи.

Тут подбегает какой-то толстяк:

— Вуколка!

Капитан говорит Драгоманову:

— Что я говорил, комендор?

Драгоманов молчит, а Эрастыч восклицает:

— Дядя!

Воня сигарой и вытирая потный лоб, толстяк стал расспрашивать:

— Ну, Вуколка, как там наша Пальна? Чай, сожгли...

— Зачем же, дядя! Там по-прежнему конный завод, и я сам в нем тренером.

Лицо толстяка переменялось.

— А, стало быть, ты вроде Якова Ивановича. [\[27\]](#) П-предатели! Россию сгубили!

— А вы, дядя, — отвечал Эрастыч совершенно спокойно, — когда

после бегов в Яре ночи прожигали и зеркала били, должно быть, спасали ее?

Дядя не ожидал, конечно, что племянник так резко примет и кинет его сразу корпусов на десять.

— Ну, брат, — пробормотал он, — ты, видно, приехал подкованный и по-летнему, и на шипы.

Чувствуя, что не попадает в пейс, толстяк взял на себя и сменил ногу, то есть сделал совсем другое лицо и начал не тем тоном.

— Вуколка, — почти прошептал он, — назови лошадок попримичней и цены, мне тут кое-кому шепнуть надо, за комиссию заплатят, а то ведь жить-то надо старику.

— Нам не жаль, — сказал Эрастыч, — но ведь лошади с молотка пойдут.

— Какая же фирма берет у вас? Васька, что ль, Выжеватов?

И как раз подъехал в автомобиле невысокий, очень гладко выбритый, средних лет человек и хорошо по-русски спросил:

— Что, ребята, укачало?

Наших лошадей сразу же начали выгружать и ставить в скотовозные фургоны с надписью «Wijewatoff».

— Пойдемте, ребята, — сказал хозяин, — по-нашему, по-русски, с дороги...

Приехали мы к нему в дом, он заговорил с женой по-английски, а она, улыбнувшись, сказала:

— Карашо!

Принесли поднос с бутербродиками.

— Эй, Василий Парменыч, — возьми да скажи ему Эрастыч, — это не по-нашему!

— Так, ребята, забыл! — засуетился хозяин. — Все забыл! А вернее сказать, и не знал никогда. Мы в российско-английской торговле со времен Ивана Грозного. Все лес да лен, лес да лен. Потом отец прибавил пшеницу и шерсть. А я вот еще и лошадьми занялся. Но я что, я ведь ровесник революции, мне и года не было, когда мы уехали. Так что и здесь я чужой, и родины я не знаю. Так вот, торгую только.

И опять обратился к жене по-английски, и она принесла еще один поднос.

— Жить, ребята, — сказал Выжеватов, — будете здесь же, у меня на ферме. Я хочу сказать — в хозяйстве. Лошадей слегка подготовим, подработаем и — торги. Работать-то кто будет? Или тренера надо нанимать?

— Какого тренера! — сказал Драгоманов. — У нас одни крэки! Это победитель Кубка Европы, мастер-жокей, а это, вы же, наверное, знаете, — Р.

— А, племянник, — отозвался сразу Выжеватов, — ну, знаете, — с дядей вашим сладу никакого нету. У нас тут, в землячестве, просто беда, или такое вот старичье, или же деписты^[28] проклятые, а тоже в «русские» лезут, в «патриоты»! Но ничего, есть и стоящие люди, вы сами увидите!

— Ты, Николай, — говорил мне Выжеватов, — не смущайся. Если скучно будет — скажи мне, я тебя па большие скачки свезу. Тут Манчестер рядом и Ливерпуль, тут, брат, все рукой подать. Это вам не Россия. В Эпсоме сейчас по сезону ничего нет, но если ты хочешь турф, то есть круг скаковой, посмотришь, поедем, я свезу.

Но прежде нужно было, конечно, заняться делами. С утра начинали мы работать лошадей, которые за долгую дорогу успели порядочно одичать, а проще говоря, избаловались. У нас был форменный ковчег, конский заповедник, со всевозможными видами лошадей и езды. Фокин с доктором налаживали тройку. Вукол Эрастович приспособил себе в помощники переводчика, который раньше немного занимался в конноспортивной школе, а мы с Драгомановым готовили основное — молодняк на продажу. Сам я садился только на трудных лошадей, строгих и отбойных, а в большинстве ездил местные ребята — выжеватовские дети, которые не все, к сожалению, хорошо говорили по-русски. Но были они, в общем, такие же дети, только вместо «наш» говорили «мой». Но в остальном они как и наши, готовы были торчать на конюшне с утра до вечера и за счастье считали не только что поездить в седле, но хотя бы подержаться за повод.

Все вместе сходились мы иногда только за обедом и вечером, после уборки лошадей. Хотя Выжеватов и говорил: «Отдыхай, ребята, отдыхай, работа не волк, в лес не убежит», но хватка у него была хозяйская, и он следил, чтобы даром корм не проедали. Я бы не сказал, что работали мы больше обычного. Особенность заключалась в том, что работали беспрерывно. Я впервые испытывал это на себе. Прежде, когда мы за рубеж ездил, то мы были предоставлены самим себе и действовали по-своему — наваливались разом, а потом ехали в город. Но Выжеватов не гнал, он только не давал ни минуты сидеть сложа руки. Нередко мы говорим: «Ах, работа нервная!» Но тут было не то. Все время и на месте, однако чувство такое, будто нервы наматываются на ровно и медленно вращающуюся катушку.

— Ну, — вздыхал доктор, — у меня уже началось это, как его, капитан говорил, ностальгия!

— Эксплуататор ты, Василий Парменыч, и больше ничего, — со своей стороны добавлял Эрастыч, — старорежимник!

— Ребята, ребята, — твердил между тем Выжеватов, — кончил дело,

гуляй смело, а нам надо всю программу выполнить. Ведь торги на носу!

Ради рекламы до начала торгов назначены были бега и парад реликвий. А еще раньше получили мы приглашение на торжественный прием по этому случаю, и в билетиках было указано: «Просьба быть вовремя и в костюмах для верховой езды». Это тоже для рекламы решено было проехать с особой церемонией по улицам города.

— Нет, — сказал на это Эрастыч, — Вукол Эрастович Р. клоунствовать не станет.

— Брось, — отвечал ему Драгоманов, — просто ты верхом ездить разучился и трусишь.

— Что?! — поднялся наездник-маэстро. — Да я еще в утробе моей матери...

— Про утробу твоей матери и все такое прошлое, — поднялся и Драгоманов, — ты лучше вон кому расскажи! — указал на переводчика.

Страшно побелел Эрастыч. Побелел и Драгоманов. Постояли они друг против друга, а вечером после уборки мы через стенку у конюшни (там же стены дощатые, не как у нас) слышали такой разговор:

— Драгоманов перед вами, разумеется, не прав, — говорил переводчик.

— Видишь ли, — говорил Эрастыч тем самым удивительно спокойным тоном знающего человека, каким объехал он вчистую собственного дядю, — Драгоманов был один раз в жизни передо мной так прав, что больше и требовать нельзя.

Я взглянул на Драгоманова. Хотел бы я и на них посмотреть, как они там, в кучерской, на мешках с овсом устроились. Но Эрастыч, видно, с мешка поднялся, и слышно было также, что щелкнул секундомер. Эта манера наездничья — вечно секундомер при себе держать и щелкать им, будто резвость своей жизни прикидывая.

— Мой отец, — произнес наездник, — прославленный Эраст Вуколыч Р., имел крупный призовой успех. Впрочем, ты это читал.

— Да, — подхватил переводчик, — в двенадцатом году на Полуночной Печали, на Хваленом. А Драгоманов?

— Драгоманов был конюшенным мальчиком у Винкфильда. Винкфильд скакал у Манташева, того, что привоз из Англии Сирокко. С лошадьми Манташев безумствовал. Это и понятно. С бакинской-то нефти голова закружится. На аукционах он любые тысячи давал, а конюшню в Москве отгрохал с мраморными стойлами. Не конюшня, а музей искусств.

— Да, об этом и у Горького есть в одной его незаконченной пьесе. Я комментарий к ней составлял, и Вильгельм Вильгельмович помог мне

найти источники.

— Потом вскоре прежние бега, как ты знаешь, закрылись, — продолжал Эрастыч. — Отец с братом выехали в Ростов. Собственно, попали они туда вместе с войсками. Не то, что они за кого-то там были, а с лошадьми. Например, и Николай Черкасов, друг Куприна, в Париже очутился, что же он — белый? У него только камзол был белый. Его владелица с собой прихватила. Так и отец. Где бега, там и он. А бега в Ростове не прекращались тогда ни на один день. А если не бега, то скачки. А то верблюда запрягут — в самолет. У них самолет там на ипподроме стоял. Ведь раньше заместо аэродромов для полетов ипподромами пользовались, и один какой-то самолет застрял — без мотора. В этот беспомощный самолет запрягли они верблюда и — катанье. Угар! Тут Драгоманов взял Ростов. Все бежать. Брат отца...

— Эраст Эрастыч, тот, что на Зазнобе ездил?

— Нет, Вукол Вуколыч-второй. Его ты не знаешь. Это имя у нас долго не произносили. Он с жеребцом Злой Гений отбыл в Турцию. Вообще любил он двойные клички. Полуночная Печаль, Безнадежная Ласка — это все в его духе. Ну и Злой Гений. Пока они плыли, у жеребца ослабла мускулатура, и восстановить его до призовых кондиций было невозможно. Да и бега в Турции были только тараканьи. Но отец никуда не поехал. Остался. Я смутно помню, как ему мать говорит: «Подумай о детях!» Он отвечает: «Потому и остаюсь, что о них думаю». Бросил он все, переименовал имя и простым конюхом устроился в одном дальнем конном заводе. Даже и не рысистого направления был завод. И вдруг приезжает туда Госконебракераж. Во главе — Драгоманов. Отец должен на выводке лошадей демонстрировать.

— Что же было?

Я сам же такой вопрос чуть было Драгоманову не задал. Эрастыч помолчал и ответил:

— И Драгоманов *не узнал* отца!

Еще помолчал и продолжил:

— «Ну-ка, говорит, конюх...» Это он отцу, с которым на конюшенном дворе каждый день здоровался... «Поставьте нам этого жеребенка как следует, безгривой стороной».

Я хотел было в это время взглянуть на Драгоманова, но он в сторону отошел.

— А верхом, — усмехнулся вдруг Эрастыч, — я ведь в самом деле ездить не умею.

— Как же это так? — воскликнул переводчик.

— Могу себе это позволить, — отвечал маэстро. — В моем деле для меня не осталось тайн. Все могу, все постиг. Все, что в силах человеческих, выиграл.

Он заговорил чужим, металлическим голосом:

— «На первом месте бег закончил Прыткий под управлением мастера-наездника Р., установив новый рекорд сезона». «Бр-раво!» — пробовал изобразить он и публику.

Видели бы вы, как совершает он круг почета перед клокочущими трибунами... Публика требует: «Мастера! Мастера!» Он всем своим видом как бы отвечает ей: «Извините, но ничего больше сделать для вас не могу». Или имел он еще обыкновение идти на проводке, поникнув горестно головой, будто прося прощения: «Виноват, виноват, что так блистательно выиграл».

— Да, брат, — заговорил Эрастыч, по-прежнему обращаясь к переводчику, — всякую лошадь вижу я насквозь, не говоря уже о людях. Это даже скучно. Так что для разнообразия могу только мечтать научиться ездить верхом.

— Но раньше, раньше разве не учил вас отец?.. Разве не полагалось?..

— Эх, — ответил неожиданно Эрастыч с раздражением, — ты все о прошлом вздыхаешь! А скажи ты мне, чего ты-то там потерял? Прежде такой, как ты, на лошадь вообще бы не сел. В Общество любителей верховой езды таких не допускали. В манеж Гвоздева на Смоленской, где теперь гараж, ходили люди попроще, но ты и до них бы не дотянул. Вообще спорт, тем более конный, таким был не по зубам! А сейчас тебе верховая езда сколько стоит?

Переводчик только усмехнулся. Эрастыч сказал:

— Вот именно!

— Но дело не только в деньгах, — не сдавался, однако, переводчик, — а как в конноспортивную школу попасть? Ездить же негде, просто ездить, без того, чтобы думать о разрядах и рекордах.

И он опять вздохнул, вероятно, на этот раз уже о настоящем.

Действительно, строится конный спорт по чемпионам, и сделать верховую езду массовым развлечением пока мы не можем. А люди хотят сесть в седло.

Так что в этом случае вздыхал наш малый, по-моему, правильно, однако Эрастыч его поправил:

— Доступным конный спорт никогда не был. Всегда в чести, как бы в ореоле был — это да, но ведь большинству доставалась роль зрителей. Возле лошадей терлись, возле бегов или скачек. А собственно спортивной

верховой ездой занималось преимущественно состоятельное офицерство. Вот и все. Толстой на что уж любитель поездить был, а ты сам знаешь, что у него за лошади были. Так себе. У отца он тогда торговал рысака от Ларчика...

— И что же?

— В цене не сошлись. Кровную лошадь купить Толстому было не по карману. Или Пушкин. Ездил он верхом на самых настоящих маштаках (беспородные рабочие лошадки). Правда, Лермонтов держал лошадей приличных. Парадер или Черкес у него был, это, как отец говорил, все-таки лошади. Но у него бабка состояние имела.

— Это верно, — сказал и переводчик, — Шекспир, например, пешком ходил: лошади были тогда невероятно дороги. «Продают дома, поля, чтобы коня купить и идти в бой!» Это из «Генриха V».

— Ну вот видишь! А ты о былом вздыхаешь. Или ты говоришь: «Пропал прежний ипподром!» Конечно, пропал. Раньше не то что в лицо или по камзолу, не говоря уже о посадке, а по кончику хлыста наездника отличить было можно. У каждого не просто своя посадка, а почерк в езде был. Но, в сущности, на этом дело и кончалось. Этим исчерпывался их кругозор. Возьми хотя бы самого Мельгунова-Яковлева.

— Наездник Крепыша?!^[29] — так и ахнул переводчик.

— Ты его не застал и думаешь, какой-то Микеланджело. Конечно, руки волшебные. Чутье, опыт, приемы езды — все это сверхъестественное. Но во всем, что выходило за пределы бегового круга, — примитивность страшная. Суди сам. На призах выигрывал невероятно много. Чтобы в купцы пойти или своих лошадок завести — это, он чувствовал, не его занятие. Оставалось деньгами сорить. И максимум, на что хватало фантазии, так это в бане фотографироваться. Видишь, это я тебе говорю, а уж мне все до того дорого, что и выразить невозможно. Ведь что ни говори, а ведь тогда, а не теперь мое-то время было! «Мое время»! Я и сам почти что его не застал, но это живет во мне как воспоминание.

Щелкнул секундомер, и Эрастыч оборвал:

— Ладно, пора и на покой. А ты уж завтра придумай что-нибудь, найди там слово поточней, объясни англичанам. «Пушкин энд Шейкс-пир» — что-нибудь в этом роде. Скажи, Шекспир, мол, насколько известно, в театр вообще не ходил.

— Ну, это еще не доказано. Я скажу: «Господа, что удивительного: наш мастер ни разу в жизни не сидел верхом, а ваш адмирал Нельсон не умел плавать и к тому же еще страдал морской болезнью».

Встречал гостей на приеме Гордон Ричардс, называемый англичанами «жокеем нации». Скакать мне с ним не приходилось, да он уже давно закончил свою карьеру и, кроме того, скакал почти исключительно в самой Англии, не выезжая за рубеж. Вообще до тех пор, пока не стали возить лошадей самолетами, международные призы не были так распространены, как сейчас. Гордон Ричардс в конном мире имя очень громкое, за свои заслуги он получил даже рыцарское звание, но был он, кроме всего, знаменит еще и тем, что ему при всех победах никак не удавалось выиграть Дерби. А что такое великий всадник без Дерби? Только в последний год своей призовой деятельности удалось Ричардсу в смертельном бою с Даг Смайтом вырвать на голову свое единственное Дерби.

Цвета у Даг Смайта были королевские, то есть скакал он на лошади, принадлежавшей английской королеве. Королеве тоже все время не везло — не удавалось, как и Гордону Ричардсу, взять Дерби. И тогда для них обоих наметился единственный в своем роде шанс. Как говорится, светило обоим, но выиграть ведь должен кто-то один! И вот перед самым стартом королева, как полагается, отправилась в паддок, где собираются все владельцы. На пути ей попался Ричардс. Он шел в весовую. Туда уж, кроме жокеев, не допускают никого. Но он шел в весовую через паддок — взвеситься вместе с седлом и — на старт. Их взгляды встретились. «Желаю вам удачи, сэр», — дрожащим голосом сказала королева. «Я тоже вам желаю удачи, ваше величество», — с дрожью в голосе произнес жокей и — выиграл.

— У вас с весом как, есть проблемы? — спросил меня Ричардс.

— Пока терпимо.

— Я сужу по вашему росту. Вы почти как несчастный Фред Арчер. (Он довел себя выдержкой до безумия. — *Н. Н.*).

— Пигот еще, кажется, выше.

— Да, — засмеялся Ричардс, — мы говорим, что живет он на собственном поносе.^[30]

— А вы, — спросил тут же Ричардс, — предпочитаете с какого конца — рвотное или слабительное?

— Я парюсь.

— О, чисто русский способ. Но ведь это слишком тяжело для сердца.

Он опять улыбнулся, и мы двинулись дальше. Выжеватов руководил

нашими знакомствами. Один раз он просто схватил переводчика за руку, когда тот, услышав от какого-то типа «Как делишки?» (по-русски), хотел с ним поздороваться.

— Убери руку-то, — сурово сказал Выжеватов, не обращая никакого внимания на того субъекта, — войны не помнишь, вот и суешься.

— Я помню. Мне шесть лет было...

— Оно и видно, что шесть. На той руке, может быть, кровь, а ты свою тянешь!

Но тут же он сам подвел ко мне другого человека, англичанина, и почему-то, сдерживая улыбку, попросил:

— Поговори с ним, Николай, по-свойски, прошу. Это мой добрый знакомый.

А сам с трудом сдерживал смех.

Незнакомец проговорил:

— Я астролог.

— Кто?

— Звездочет. Я гадаю по звездам.

— Да, но я-то — жокей.

— Именно поэтому я просил о беседе с вами. Мною опубликован капитальный труд «Астрология для любителей скачек. Новейший гадатель по звездам в применении к ипподрому». Справочник, по которому всякий может определить, в какие дни тому или иному жокею предназначена удача. Друг мой, вы, как и большинство конников, полагаете, вероятно, что «вожжи в руках» у вас! О нет, все написано на небесах, в том числе и результаты будущих скачек. Но я не какой-нибудь обычный «жучок», не принц Монолулу!

«Жучками» называются люди, которые шныряют перед призами по конюшням в надежде разузнать какие-либо сведения о шансах лошадей. О принце Монолулу я слышал. Это был знаменитый «жучок». Он и нам прислал однажды телеграмму такого содержания: «Я — жучок тчк Хотел бы показать у вас свое искусство тчк Прошу зпт сообщите условия тчк Искренним уважением принц Монолулу». Драгоманов сначала решил, что это его какие-то остряки разыгрывают, но тут как раз приехал конеторговец из Эпсома, мы показали ему телеграмму, и он сразу узнал: «Монолулу! Как же, живая достопримечательность наших скачек».

— Принц был кустарь, шарлатан, — горячился звездочет, — а у меня обоснованный подход. Каждый жокей выигрывает в те дни, когда звезда его проходит знак удачи. Билл Шумейкер родился под знаком Льва, его судьбой руководят Солнце и Меркурий. Для него лучший день — пятница, в этот

день всем событиям покровительствует Меркурий. Браулио Браэза — это Марс, на него надо ставить в субботу. Книжка моя в первом издании уже разошлась, и я сейчас готовлю второе, дополнительное. Поэтому не откажите сообщить дату и день вашего рождения.

Я сказал. Звездочет заносил все в блокнот и тут же подсчитывал:

— Скорпион. Управляет Сатурн. Наилучшие дни... Для вас, скажу я вам, наилучшие дни понедельник, вторник и четверг.

— Видите ли, — ответил я звездочету, — у нас скаковые дни среда, пятница и воскресенье. В понедельник и четверг мы никогда не скакали. А во вторник на ипподроме вообще выходной.

— В таком случае, — произнес мудрец, — вы только представьте себе, какую же удачу в своей жизни вы постоянно упускаете!

* * *

На другой день был парад реликвий. Начали шествие ребята, и я вспомнил тут мальчика, которому не дал возможности поехать на соревнования юниоров. Малютки-всадники в жокейских костюмах ехали на пони, но все же более крупных, чем те шотландские пони, на которых катают младенцев в зоопарке. Пони считается лошадь, не превышающая в холке ста пятидесяти сантиметров.

За ребятами двигался оркестр конных пожарных образца 1890 года. Несколько человек, в том числе трубач-иерихонец и барабанщик, играли в нем чуть ли не со дня основания.

За оркестром в виде реликвий попросили идти нас с Ричардсом. Потом выехала кавалькада всадников в красных камзолах и со сворами гончих. Потом появилась карета, в которой когда-то из ссылки бежал Наполеон. И сейчас кучер, одетый по-старинному, нахлестывал лошадей, а из окошка то и дело высывалось бледное лицо в треуголке: «Нет ли погони?» Последним же номером была наша тройка.

И когда пожарные пусть неумело и не по-нашему, но старательно заиграли «По Тверской-Ямской», вот когда у каждого запершило в горле.

Фокин с почерком пошел писать восьмерки по зеленой лужайке в центре демонстрационного круга. Публика аплодировала стоя.

— А еще говорят, что англичане сдержанный народ, — произнес Драгоманов.

Красота тройки — в подборе мастей. Потом — в запряжке. Особенно эффектно вороные и серые, на любителя — пегие. Коренник хорош

покрупнее, с лебединой шеей, а пристяжки свиваются кольцом. Все спрашивают: «Зачем у них головы в сторону?» Скажу прямо — только для красоты, практического значения это не имеет. У Фокина были серые в яблоках. Запряжка — охотничья (еще бывает ямщицкая и свадебная). Сбруя с набором серебряным, экипаж — пролетка обыкновенная. Он писал восьмерки, а на прямой выпускал вольсю. Когда тройка съезжена правильно, то дело коренника только направление давать, а пристяжки на галопе его подхватывают и несут, его дело — успевай ноги переставлять.

Фокина долго не отпускали, так что бока у серых потемнели в пахах.

Выжеватов только приговаривал: «Хорошо, хорошо, ребята! Вот это по-нашенски, я хочу сказать — по-вашенски...»

Зато на следующее утро напугал его Эрастыч: прямо перед Королевским призом.

* * *

Маэстро был невероятно мрачен.

— Я стар и болен, — говорил он.

Выжеватов впал в панику.

— Что же это делается, ребята?

— Ничего, — отвечал Драгоманов. — Его вы не трогайте, он еще и не то говорить станет, но что бы ни говорил он, ни делал, будет ли волноваться, нервничать, не обращайтесь внимания, все это одно сплошное мастерство. Так надо!

Между тем Эрастыч расхаживал по конюшне и говорил:

— Все могу. Все постиг. Нет в моем деле для меня тайн. Однако не могу в себе преодолеть страха перед лошадьми.

Драгоманов, прислушиваясь время от времени к его бормотанью, удовлетворенно кивал головой:

— Мастерство! Одно мастерство!

Выжеватов попробовал Драгоманова предупредить:

— Конечно, у англичан законы спорта и все такое, однако же ухо остро надо держать, как бы они ему чего в езде не подстроили.

И это Драгоманова совершенно не обеспокоило.

— Он им, Василий Парменыч, сам такое подстроит, что они содрогнутся. Он их будет рвать и кидать. Рвать и кидать. Это же не человек. Это волк. Матерый волчина. Погодите и увидите, как он их будет рвать и кидать, рвать и кидать.

Но при взгляде на бледного, трепещущего Эрастыча Выжеватову все что-то не верилось. Однако взгляд более опытный уловил бы, как с минуты на минуту менялся наш маэстро. Вскоре он уже говорил тоном хирурга — при запрягании:

— Бинт... Хлыст... Подпругу туже на дырочку...

Доктор с переводчиком ему ассистировали.

После проминки Эрастыч не проронил уже больше ни слова. Он сидел у конюшни и чертил хлыстом по песку. Вокруг него как бы заклятие было сделано, и никому в голову не могло прийти, чтобы приблизиться к одинокой фигуре, задумавшейся с хлыстом в руке.

Но вот посреди конюшенного двора возник всадник в блестящих ботфортах. Этот человек выводит участников приза на старт. Его появление означало: «Готовься!» Эрастыч по-прежнему, не произнеся ни слова, встал, а доктор, водивший кобылу после проминки под попоной, подвел ее к конюшне. Они с переводчиком накатали сзади легкую двухколесную беговую «качалку». Она, как и все вообще призовые принадлежности, ни на что не похожа, качалка как качалка, и, главное, такая легкая, что даже человеку нетрудно ее везти. Драгоманов помогал запрягать, потому что ремни сбруи должны крепиться к оглоблям с двух сторон одновременно — для абсолютного равновесия. Эрастыч молча наблюдал. Только когда все было подтянуто и проверено, все готово, он тихо спросил:

— Уши заткнули? (Кобыла была нервная до крайности, и ее мог напугать на дорожке любой шум.)

— Заткнули, — отчеканил доктор.

— Дайте ей глоток.

— Глоток! — крикнул Драгоманов и сам же помчался за ведром.

Попробовали окунуть лошадиную морду в ведро с теплой водой. Но Последняя-Гастроль-Питомца не двигалась и не разжимала губ. Только белесые разводы пошли от пены и удил, и капли повисли у нее на длинных усах у ноздрей.

— Не станет сейчас пить, — произнес Драгоманов.

И эхом отозвались доктор с переводчиком:

— Не станет!

— Не станет!

Вдруг Последняя-Гастроль, оттянув зад и расставив задние ноги, обильно вонючей жижей покалилась, брызгая навозом на свежие бинты, обхватывающие ее задние ноги.

— Извелась уже вся, паскуда! — не своим голосом завизжал Эрастыч.

Зато Драгоманов, доктор и переводчик стояли совершенно молча,

будто ничего и не слышали.

— Чек, — произнес тут же Эрастыч голосом хирурга.

В беговой упряжке чек — самое главное. Это ремень, проходящий от удил к уздечке между ушами над гривой — к седелке, где его цепляют за крючок. Чек держит голову. Во время резвого бега лошадь опирается на него. Так создается на рыси баланс. Длина чека — секрет слаженного хода.

Эрастыч посмотрел, как надели чек, и велел:

— Выше на дырочку.

— Не высоко ли? — едва проговорил Драгоманов и тут же прикусил язык.

Но Эрастыч вопроса будто и не слышал. Время от времени он пощелкивал секундомером, прикидывая бег своих мыслей.

Один за другим участники приза подавали лошадей на старт. Эрастыч стал садиться. Вроде он и в самом деле был тяжело болен, кряхтел, вздыхал и все никак не мог сесть в качалку.

Каждого участника встречали на дорожке музыкой. Оркестр конных пожарных подбирал к каждому случаю свою, национальную мелодию. Австралийца встретили «Вальсом Матильды». Выехал шотландец, и заиграли: «Забывать ли старую любовь». А нам? Когда ступил на круг Эрастыч и музыканты образца 1890 года начали делать музыку, мы узнали себя не сразу. Но потом поняли:

По-люшко, поле...

И Эрастыч, двигаясь перед трибунами, чуть прибавил хода.

До старта оставались секунды. Всадник в ботфортах уже съехал с беговой дорожки: его дело сделано, вступительная церемония окончена, сейчас начнется бег. На дорожку выехал автомобиль, называемый «стартовыми воротами»: у него сзади открываются и захлопываются большие крылья, закрывающие всю дорожку.

— Прошу, — говорил сидевший в автомобиле (открытом) стартер, — всех участников в точности придерживаться своих номеров!

Это значило буквально, что со старта лошадь должна идти, почти прижимаясь носом к табличке с номером, укрепленным на крыле.

— Подавай! — крикнул в рупор стартер.

Тут Эрастыч властными кивками головы стал требовать нас к себе.

— Кобыла расковалась, — сообщил он, когда мы подбежали к нему.

С Выжеватовым только что плохо не сделалось.

— Ребята, что же это? — заговорил он. — Позор какой...

И Драгоманов дрогнул.

— Вукол, — произнес он, сжимая челюсти, — что же ты делаешь? Хоть бы перед родными своими постыдился...

Но пустые, устремленные мимо нас глаза смотрели из-под защитных очков.

Эрастыч обратился к переводчику:

— Скажи судье, что мне нужен кузнец.

Медленно, с ноги на ногу, съехал он с призовой дорожки и направился обратно на конюшню. Мы двигались за ним вроде похоронной процессии.

На конюшие не спеша слез он с качалки, сам снял чек и стал ждать кузнеца.

— В чем дело? В чем дело? — подошел учредитель приза.

Без перевода Эрастыч указал ему на оторванную с передней ноги подкову.

— Ах, ах! — воскликнул учредитель и посмотрел на часы.

Эрастыч тоже поглядывал на часы, именно на часы, а не на секундомер. Приехавший кузнец хотел было пришлепать старую подкову, но Эрастыч, опять взглянув на часы, снова без перевода замахал руками, объясняя, что нет, нет, пусть снимет старую, расчистит копыто и поставит новую. Он вообще теперь объяснялся сам, хотя бы и руками, он как-то отделился от нас и действовал в одиночестве.

— Вукол! — воззвал Драгоманов. — Имей же совесть!

Он уже забыл про «мастерство». Но Эрастыч не слышал ничего, минут пятнадцать прилаживали они подкову, пока взмыленные соперники метались в ожидании старта.

Еще раз взглянул маэстро на часы и стал садиться все с теми же ужимками старого и больного человека.

Чек был опять надет, кобыла сделала шаг по направлению к старту, и тогда Эрастыч, обернувшись, бросил Драгоманову:

— У них половина лошадей бежит под допингом. Мне нужно было двадцать минут лишних, пока действие наркотика кончится.

Даже «подвижные ворота» — стартовый автомобиль вынужден был дать газ как следует — настолько резво приняли. Крылья с номерами хлопнули и исчезли. Путь был свободен. Повел гнедой австралиец Дело-Прочно, бывалый призовой боец, бежавший на всех континентах. Сбитой группой неслись лошади до первого поворота, когда на противоположной прямой мы увидели, что Эрастыча среди головных лошадей нет. Мы и не смогли его отыскать сразу, как вдруг голова Последней-Гастроли

взметнулась из-за конских спин. «Номер пятый, — объявил диктор, — сбоит». Выжеватов взвыл. Ведь рысак должен рысью идти. Галопом нельзя! Последняя-Гастроль строптиво выбрасывала вперед то левую, то правую ногу, пытаясь подняться вскачь. Кукольной фигуркой дергался Эрастыч на вожжах. Наконец он ее поймал, он ее поставил, подлюю, на рысь, но все остальные уже выходили из-за поворота на противоположную прямую. Так и за флагом остаться пара пустяков.

Дистанция занимала три круга, и, когда в первый раз проносились лошади мимо трибуны, сквозь стук копыт слышно было, как покрикивают наездники, как идет борьба за место получше, у бровки, но по-прежнему последним, просто последним, оставался Эрастыч. Глядел он сосредоточенно в спину лошади. Вся его фигура говорила о том, что нет для него ни трибун, ни соперников, и даже, собственно, нет цели в этой борьбе, а вот видит он что-то на спине у лошади, что крайне важно ему именно сию минуту рассмотреть.

— Что же это, что? — взмолился Выжеватов, не в силах выносить больше загадок родной «славянской души».

Но Драгоманов неожиданно ожил.

— Сейчас будет он их рвать и кидать, рвать и кидать! — прошептал он.

Действительно, что-то вдруг произошло там, у очередного поворота, и Эрастыч разом оказался в самой гуще несущихся лошадей. И было это в самом деле похоже на бросок зверя, внезапно настигающего свою жертву, чтобы вцепиться ей в загривок.

Шли второй раз мимо трибуны. Теперь Эрастыч навис над лошадью. Хлыст хотя и бездействовал, но был поставлен параллельно конской спине. Тем временем лидер сменился. Роял, седо-бурый англичанин, захватил голову бега. Но и его первенство оказалось недолгим, потому что Мэтчем, с лысиной на лбу, Мэтчем вылетел вперед. Мэтчем делал бег не для себя. Он явно резал Рояла ради соконюшеника своего, который уже подбирался по бровке к ведущим лошадям.

Трибуна гудела. Фаворит выходил на последнюю прямую. Но двое других не уступали, и три крэка шли к столбу голова в голову, даже ноздря к ноздре. Так отчаянно резались они между собой, что и мы засмотрелись на них. Вдруг какая-то тень резанула нас по глазам, и немислимый вопль разорвал воздух. Будто с неба, как коршун, с поднятыми руками, в одной из которых свистал хлыст, ошеломил всех троих сзади Эрастыч. Последняя-Гастроль-Питомца, еще в повороте державшаяся где-то четвертым колесом, вдруг высунула у самого столба полголова впереди соперников.

Мы бросились к Эрастычу. Он уже слез с качалки в паддоке и снял чек. У Последней-Гастроли ходили ходуном бока в пахах и ноздри.

— Глоток, — велел Эрастыч, снимая очки вместе с комочком грязи у переносицы.

И опять одна только пена пошла разводами по воде, но пить кобыла не стала, просто не могла.

Качалку мы отпрягли. Соскребли специальным скребком с дымящихся боков пену. Прямо поверх сбруи накинули попону с надписью «СССР», и пошел наш мастер перед трибунами.

— Как идет, нет, ты посмотри, как идет! — проговорил Драгоманов.

Проехать по охоте с почерком я и сам могу, но пройти вот так... «Любимец публики» — одно можно было сказать, хотя на лице у наездника было: «Простите, но я не виноват...» По-прежнему то было одно сплошное мастерство, прием и почерк, но было и нечто сверх мастерства. Можно понимать пейс, иметь «железный посыл», изрядное «чувство лошади», но то был еще и артистизм. Табунщик Артемыч прав, это встречается гораздо реже, чем присуждается звание чемпиона или мастера, чем разыгрываются первенства и ставятся рекорды. Но я скажу: это было, есть и будет, только забывать не надо, что это такое, путать не надо особую печать, отмечающую человека, ни с чем другим, и тогда, едва это блеснет, мы сразу узнаем: «Вот оно!»

Вместе с лошадьё Эрастыч вступил в небольшой загончик, называемый «клеткой», но на самом деле это и есть наипочетнейшее место, где вручается приз и воздается победителю должное. Огромный лавровый хомут, то есть венок, оказался у Последней-Гастроли на груди, а Эрастычу все пожимали руки. Но один какой-то толстяк разбежался время от времени издали и заключал наездника в объятия. Посмотрит, посмотрит, разбежится и облапит. Эту завидную энергию Эрастыч тотчас обратил в дело. При очередном приступе он сказал ему:

— Слушай, сообрази мне пива.

Толстяк немедленно исчез.

Уже выводили Последнюю-Гастроль после приза, и она, наконец, вволю напилась, как вдруг к нашей конюшне подъехал пикап, из которого начали выносить нарядные картонные ящички.

— Что это? — удивился Драгоманов.

— Пиво для маэстро, — был ответ.

— В чем дело? Разве ты просил? — стал упрекать Драгоманов Эрастыча.

— Да ничего подобного, — ответил маэстро, — но ведь они вроде

нашего толмача, языка человеческого не понимают. Просишь пива — и вот, пожалуйста!

К пиву было приложено письмо:

Сэр!

Сегодня на моем ипподроме собралось рекордное число публики. И я рад, что мы вместе с Вами можем отпраздновать день нашего совместного торжества. У англичан бездна недостатков, кроме одного: все свои предрассудки они забывают, когда видят классный финиш наездника, из какой бы страны он ни был.

Дж. Т. Томсон, директор

Наутро мы читали в газетах — в одних: «РОССИЯ БЫЛА И ОСТАЛАСЬ НЕ ЗНАЮЩЕЙ УДЕРЖУ ТРОЙКОЙ»; в других: «РУССКИЕ УМЕЮТ ВЫИГРЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО В КОСМОСЕ».

Наконец торги. Каждая лошадь шла под номером Езда Фокина и победа Эрастыча разохотили покупателей, и они стали наведываться еще до начала аукциона. Выжеватов сбился с ног. Встречая гостя, он просил своего помощника:

— Взгляни, на какой машине приехал. По машине и цену запросим.

Некоторых лошадей я демонстрировал под седлом, на разных аллюрах и в прыжке.

Самый торг состоялся в среду, и публики съехалось порядочно. Оркестр реликтовых пожарных старался сделать «Подмосковные вечера». Шла реклама: «ВПЕРВЫЕ НА АНГЛИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ АУКЦИОН РУССКИХ ЛОШАДЕЙ: ТА ЖЕ ЧЕРНАЯ ИКРА, ТОЛЬКО О ЧЕТЫРЕХ НОГАХ И БЕГАЕТ».

— Надо было «советских» поставить, — заметил наш консул, который прибыл на аукцион.

К нам он подвел из публики какого-то высокого седого старика, державшегося, сразу видно, по-военному, и сказал:

— Ну, Алексей Степаныч, как вам нравятся наши орлы?

А тут подошла еще старушка англичанка, перед которой все расступались (ну, это понятно было по деньгам, которые она за лошадей давала), и говорит, дотрагиваясь до драгомановского плеча:

— Когда я думаю о России, мне представляются такие люди.

— Он, — заметил ей высокий старик, — как видно, в казачьем типе.

И спрашивает у Драгоманова фамилию, а потом спрашивает:

— Не ваш ли батюшка в Третьем Терском вахмистром был?

— Так точно, — чеканит Драгоманов.

— А сами вы, позвольте поинтересоваться, где служили?

— В Первой конной.

— Это, — пояснил нам про высокого старика Выжеватов, — тот, что ответил Гитлеру.

— Как ответил Гитлеру?

— В первую мировую попал в плен. В тюрьму. А в той же тюрьме сидел тогда Гитлер. Потом, когда уже Гитлер до власти добрался и пошел на нас... то есть на вас, он этого полковника решил использовать и вызывает. «Как вы относитесь к России?» А он ответил: «Так же, как всякий истинный немец к Германии». Гитлер язык прикусил, но по старому

знакомству его не тронул.

— Так я говорил, — заметил насчет рекламы Драгоманов, — как надо было написать.

— Ребята, — ответил Выжеватов, — не учите. Пробовал я гаванскими сигарами под новым названием торговать: не идут! Сомневается публика: что это такое? А те ли это сигары, что называются «Гаваной»? И — карман худеть начинает. «Русское» Англия со времен Шекспира покупает. Обозначьте русского соболя или икру другим артикулом, что получится?

— Шекспир, — сказал переводчик, — называл хорошую пьесу русской икрой в «Гамлете», в третьем акте.

— Вот видите! Ведь большинство покупает не вещь, а вывеску. Думаете, многие понимают в мехах, соболях или в тонкостях вин? Главное сказать: «У меня русский соболь. Да, да, тот самый, что со времен Шекспира...» — и пошло. Спутник — это уже другое дело. Это советский, не отымешь!

Тем временем специально приглашенный аукционер взялся за дело.

— Господа, — воззвал он, — взгляните на этого жеребенка, господа! Тетка у него выигрывала, бабка — выигрывала, а мать у него — внучка самого Риголетто, который приходится полубратом нашему чемпиону чемпионов Скажи-Смерти-Нет!

Покупатели рассматривали жеребенка со всех сторон.

— Породистые лошади, — не унимался аукционер, — это единственная аристократия, которую признают Советы.

— Что он городит, что он городит? — опять взволновался Драгоманов.

— Прошу, — успокаивал его Выжеватов, — не в свое дело не вмешивайтесь. Лишнего он не скажет, а без перчика у них тут... у нас тут нельзя. Это же не дипломатические переговоры, а торговля.

На расчудесной «тетке» я скакал, а «бабка» была знаменитой спортсменкой. Она прошла фронт и первенствовала в послевоенных стипль-чезах. Вот была талантлива, просто талантлива! Можно сказать — «класс», «сердце». «Много сердца у лошади» означает буквально большое по размеру сердце. У лучшего из скакунов Австралии Фар-Лэиа, которого никто не мог обыграть, а только отравили его в Америке, сердце в два раза превосходило норму. Но кто измерит, сколько в нем было еще души, благородства спортсмена! Красный Викинг, от Грусти, был до того азартен, что бросался кусать соперника, если его обходили. Одним нужен хлыст и шпоры, другим — узда. Если чувствуешь под собой настоящего бойца, то остается думать лишь о том, чтобы не сгорело его «сердце» раньше времени, чтобы прирожденная пылкость темперамента не «сожгла» лошадь

до срока.

— Четыреста фунтов, господа! — объявил аукционер. — Кто больше?

Это теперь аукционы вошли у нас в правило, стали ежегодными, традиционными, теперь мы сами проводим аукцион у себя, а тогда мы это дело начинали, и не очень нам было ясно, как «пойдут» наши лошади. Ныне всем ясно — это живое золото.

— Кто больше, господа?

Поднялась рука с табличкой, на которой номер покупателя.

— Четыреста пятьдесят! (По пятьдесят добавляется до тысячи.)

Но дальше произошла заминка, и аукционер сделал свой «ход», он сказал:

— А за такую цену я и не отдам лошадь — это же класс, это кровь! Пропадай четыреста пятьдесят фунтов, но честь породы дороже! Уберите лошадь!

И как только жеребчика стали уводить, чье-то сердце не выдержало, и поднялась еще одна рука.

— Пятьсот! — тут же подхватил аукционер. — Кто больше?

Руки поднимались одна за другой, и аукционер, словно дирижер над оркестром, покрикивал:

— Девятьсот! Девятьсот пятьдесят! Тысяча! Тысяча сто! (После тысячи добавляется по сотне.)

На тысяче пятьсот цена замерла, и аукционер, смилостивившись, произнес:

— Продано!

— Дело знает, — прошептал Выжеватов, — такой молодой товар и трехсот не стоит.

Но уже вели следующий «лот» (так называется каждая продажная лошадь) — кобылку.

— Тысячу пятьсот! — сразу выкрикнул аукционер, как бы продолжая прежнюю игру.

Ему ответили молчанием.

— Хорошо, — сказал он как ни в чем не бывало. — Сто пятьдесят.

Поднялась рука. За ней — другая. Третья. Не успели покупатели опомниться, как за эту кобылку, происходившую от Лунатика 3-го, надавали шесть тысяч! Оказывается, и тут, чтобы удача была, свой пейс понимать нужно. Тактика требуется. Принял «тихо» (правда, с одним фальстартом), зато что за резвый «кончик» сделал: тысячи дали! Кажется, и сам аукционер не уследил, как это у него так резво получилось. В пылу коммерческой агитации сбросил он с себя пиджак, сорвал галстук, весь

взмок, будто в самом деле галопировал и теперь, вытирая платком потный лоб, пытался осознать, что же вышло. Еще меньше понимал происшедшее новый владелец «лота». Ему аплодировали, ему трясли руки: «Вот азарт! Вот спортсмен, вот уж истинный любитель лошадей!» Однако энтузиаст, спортсмен и любитель, готов был, судя по всему, отдать все эти лестные титулы, чтобы получить назад хотя бы половину своих денег.

Ликовал Выжеватов:

— Гипнотизер! Кудесник! — не мог он нарадоваться на этого аукционера, который, может быть, и знал свое дело, но знал и свою выгоду — процент от каждого проданного «лота». Так что «резвые концы» делал он не из одной любви к искусству.

На полубрате этой кобылки я тоже скакал. Способный был, но слишком впечатлительный.

Полузнакомая мне сестричка моего скакуна прошла, конечно, по хорошей цене, а следом за ней стали бойко раскупаться полукровки, четверки, осьмушки — по крови. В некоторых лошадях, особенно в головах и шеях, сильно проглядывала арабистость. Ее сразу видно по «щучьему» сухому и острому носу, по крупным и блестящим глазам, широкому лбу и лебедино-изогнутой шее.

— Сын Тарзана! — объявляет аукционер.

Как живой встал перед глазами у меня Тарзан, немного цибатый (на ногах приподнятый, голенастый), однако резвый. Был он, этот Тарзан, безбожным блютером: кровь у него носом шла. Поседлают утром на пробный галоп, а у него — кровь. Работа, естественно, откладывается. А как можно подвести кровную лошадь к скачке без резвых галопов или хотя бы подгалопчиков? Замучил он нас кровотечениями. Обратились к Вильгельму Вильгельмовичу. Он по книгам сразу все вывел. Дело, говорит, в том, что ген — гомозиготен, а ломкость сосудов рецессивна, а у него в пятом поколении с материнской стороны Сатрап, бывшим тайным носителем того же порока, а в четвертом — явно кровоточившая Прелесть. Все ясно, но нам-то на другой день скакать! А Тарзан стоит худой, кровь приостановили, и скачку я выиграл. Посылал поводьями и поводом. Хлыстом не трогал, хотя меня стали уже захватывать. Но, думаю, перенапрягать жеребца не буду, а то вдруг опять эта гетерозиготность начнется...

Да, отскакавшие копыта стучат в голове.

Больше всего жеребята, появлявшиеся на выводном кругу, напоминали мне об Артемыче, о том, сколько ночей со своими табунщиками выстоял он на посту в горах, оберегая коней от волков, непогоды и прочих напастей.

Сколько сил потрачено было, прежде чем причесанных, только что не на помаженных, нарядных коньков вывели на манеж и потребовали: «Кто больше?» Стучи, стучи крепче, говорил я про себя аукционеру. Выколачивай все, что в этих жеребят вложено! При мысли об Артемыче я невольно поглядывал на небо: где-то он сейчас там, в облаках, движется на своем Абреке? Надо будет ему каталог с аукциона привезти, пусть посмотрит цены.

Вспомнился мне и малыш, бедняга... Мог бы вместе с нами все сейчас наблюдать. Жесток же конный спорт, ничего не поделаешь. Кочевники говорили: «В степи конский череп найдешь — и тот взнуздай покрепче». Лошадь есть лошадь, и, как ни сживешься с ней, все-таки зверь.

Задумавшись, я и не заметил, что на аукционе наступила странная тишина. Я засмотрелся на небо, но, взглянув на круг, увидел, что стоит там караковый жеребенок. Кличка у него была Потомок.

На этот раз аукционер, выдержав паузу, сказал очень просто:

— Перед вами, господа, внук Петра Великого.

Силу своих слов он, видно, рассчитал. Единодушный и напряженный возглас всей публики был ему ответом.

Затем установилась напряженная тишина, и аукционер, работая на контрасте, еще спокойнее произнес:

— Пятьдесят... Пятьдесят тысяч, господа.

Трудно теперь установить, почему когда-то одному американскому заводчику взбрела в голову фантазия назвать родившегося у него в хозяйстве жеребенка Петром Великим. Однако именно этой лошади, когда она выросла, суждено оказалось сыграть роль, достойную своего исторического тезки. Правда, распознали Петра Великого не сразу. Особенного класса в призах он не показывал, и тогда в поисках сбыта привезли нескольких его детей в Россию, а вместе с ними — влияние Запада. Тут же началась борьба, жестокая борьба кровей, но история решает такие конфликты по-своему, и в результате возникла еще одна племенная линия. Резвачи этой линии стали совершать чудеса. И потомки Петра Великого стали цениться на вес золота. «Нам очень, очень нужен Петр Великий!» — говорят теперь заводчики Америки так, как говорим мы: «Где достать Святого Симеона?» Нужная линия, которая, обогнув полсвета, освежилась и теперь сказывается в триумфах призовых бойцов по обе стороны Атлантики.

За Потомка давали уже семьдесят пять тысяч, когда среди публики у входа в торговый зал появился невысокий плотный мужчина, а с ним еще один, державшийся при нем неотступно, все время возле плеча, в седелке у

него он ехал «вторым колесом», заместо поддужного.

Окинув по-хозяйски взглядом весь зал, вошедший даже не посмотрел на Потомка, он только сделал своему спутнику едва заметный знак, и тот, выступив на этот раз чуть вперед, сказал:

— Сто.

Выжеватов тихо пояснил нам:

— Это Пламмер, американец.

— Сто тысяч! Кто больше? — не дрогнув, делал свое дело аукционер.

И, надо вам сказать, поднялась рука, но, вероятно, только для того, чтобы, при бессилии в самом деле с ним бороться, все-таки раскошелить его. Американец сделал своему спутнику знак, а тот объявил:

— Сто пятьдесят.

— Сто пятьдесят тысяч — раз! — подхватил аукционер. — Сто пятьдесят тысяч... два!

Окинув взглядом весь зал, он почти одновременно с ударом молотка произнес:

— Три! Продано.

К Пламмеру кинулись корреспонденты, но спутник его оттеснил их, говоря:

— Мистер Пламмер комментировать своей покупки не будет. Не-е будет!

* * *

Однако же мистер Пламмер предложил встречу нам. Выжеватов посоветовал:

— Сходите. Ведь он сам торгует лошадьми. У него есть жеребец-производитель линии Святого Симеона.

— Кто же? — спросил Драгоманов, потому что все Святые Симеоны наперечет.

— Слепой Музыкант.

Слепой Музыкант! Подумать только! Он был вторым на Дерби, но выиграл Аскот (соответствует у нас призу имени Ворошилова), потом, правда, вскоре захромал, сделавшись полуполюгендой. Его продали в Америку — и вот предлагали нам.

Драгоманов скрыл все свои чувства, которые я прекрасно понимал, и выразился так:

— Что ж, поговорить можно.

Пламмер с первых слов сказал:

— Отдам почти даром. Для России я сделаю все. Это моя родина.

— ???

— Слесарев я, из Куро-гиберники.

«Слесарев» — это Пламмер, это мы поняли, а вот «Куро-гиберники» — сообразили не сразу.

Угадал Выжеватов:

— Из Курской губернии?

— Райт (right — верно). Нет, по-русски я не говорю. Что вы хотите, пятое поколение! В Америку приехал прапрадед. Отец, тот еще знал по-русски несколько слов.

— Что вы за коня просите? — поинтересовался Драгоманов.

«Почти даром», как понимал это мистер Пламмер — Слесарев, было вроде удара молотом по голове.

— Но поймите, — говорил он, — тогда уж нужно просто подарить вам жеребца, чего я все-таки позволить себе не могу, или уж держаться достойной его имени цены. Дешевле никак не могу.

— Нам уже предлагали дешевле, — сказал Драгоманов.

— Кто же? Кто мог вам предложить дешевле производителя линии Святого Симеона?

А дело было так. Возвращались мы вечером с уборки, и к нам возле самого выжеватовского дома подошел человек и сказал, что у него есть продажный Святой Симеон. Я уже говорил вам, что каждый представитель этой линии известен всему скаковому миру. Обмана тут быть не может. Это был Сэр Патрик, не без фляйерства, но все же чистейший Святой Симеон, и по удивительно сходной цене. Только мы хотели с этим человеком условиться, как на машине подкатил Выжеватов и, увидев незнакомца, бросился к нам бегом. А человек этот пропал.

— Ребята, ребята, — не находил себе места Выжеватов, — вы это что? Вы это с кем? Хотя бы меня и детей моих пожалейте, я вас прошу. Я сорок лет с Россией торгую, и вы мне фирму не подводите, никаких переговоров ни с какими случайными людьми.

На аукционе, между прочим, человек этот появился, но Выжеватов от нас не отходил ни на шаг, и он держался в тени.

— Какой же это из Святых Симеонов? — спросил еще раз Пламмер.

Драгоманов взглядом дал ему понять, что бизнесмены таких вопросов не задают.

— Ладно, — сказал Пламмер, — подумайте.

А спутник его сказал, что мистер Пламмер очень просит нас с ним

пообедать.

— Нет, — сказал Драгоманов, — это мы его приглашаем. У нас есть картошка, селедка и черный хлеб. (У нас имелся такой специальный гостевой набор, пользовавшийся большим успехом у высшего дипломатического круга.)

Пламмер не только сразу согласился, но еще сказал, что хотел бы купить весь имевшийся у нас черный хлеб.

— Не продажный, но мы подарим.

За повара был доктор. Это дело он знал не хуже своего коновальства. У него даже такое фирменное блюдо было — «коновальское»: готовил он его после холощения жеребцов из того, чего сам же несчастных коней лишал. Такое блюдо среди конников считается даже обязательным — вроде ритуала: скорее у них все заживет! Но доктор на это был мастер, что холостить, что потом жарить: пальчики оближешь! А уж картошку с селедкой да с луком он как-нибудь да по охоте мог изготовить.

И вскоре мы уже окружили дымящийся котелок.

Пламмер причмокивал. Пламмер качал головой. Пламмер рассуждал:

— Мы, американцы, ищем духовных путей возвращения на родину. Делали мы Америку, делали, многое сделали: автомобили, автоматы, холодильники, стиральные машины, телевизоры, противозачаточные средства... Нет, чего-то не хватает! Делаем, делаем, а что-то все равно не получается. Тут мы вспомнили: родина! Отчий дом! Мы вспомнили: кто из нас швед, кто немец, кто англичанин, я — русский.

— «Оглянись на отчий дом» — есть такой американский роман, — сказал переводчик.

— Да, — подтвердил Пламмер, — но у того же автора есть роман «Домой все равно не вернешься», и сам он, этот автор, не дожил до сорока лет.

Пламмер усмехнулся и после обеда предложил нам поехать с ним посмотреть землю, которую он покупает здесь для конефермы: хочет учиться у английских «бридеров», знатоков породы.

— Мистер Пламмер, — пояснил его спутник, — коневод начинающий. Еще дилетант. Его дело — текстиль, гостиницы, газеты и такси. А лошади — для души.

Я вспомнил, что в Америке, когда скакал я на Анилине, мы то и дело видели «Пламмер» — на вывесках, на рубашках, на авторучках. Гостиница была «Пламмер», и на попоне, которую подарили Анилину, стояло «Пламмер». Но как-то в голову не приходило, что за этим стоит реальный человек, да еще из Куро-гиберники.

На пути, в машине, попали мы на некоторое время в атмосферу деловой жизни мистера Пламмера.

— Душить, душить и еще раз душить их, негодяев, — говорил он своему спутнику, которого называл Смит, о каких-то поставщиках шерсти. — Или же купить их на корню! А что Австралия?

Смит ответил, что Австралия пока молчит.

— Подлецы! Закажи на завтра три билета. Вылетаем. Надо скупить на корню их там, вместе с пастбищами.

— Смотрите, какой замок, — сказал переводчик.

— Плевать я хотел на замок, — отозвался Пламмер, — не занимаюсь замками. Вот церковь небольшую, православную, на вывоз, но чтобы подлинная, примерно семнадцатый век, я бы взял.

— Смит, — обратился он снова к спутнику, — соедини меня с братом. Надо будет решить, кто будет разделяться с этими новоявленными «Джонсон энд Джонсон». Н-негодяи! Дай знать Картеру, что о'кэй, я покупаю все его дело на корню.

— Джонни, — так называл Смит Пламмера, — можешь ты хотя бы полчаса в день говорить не о деле? Тебе же советовали доктора, иначе это плохо кончится. Сколько же еще ты денег собираешься сделать, прежде чем умрешь? Давай лучше поговорим о лошадях.

При слове «лошади» в свирепом взгляде Пламмера мелькнула теплая искра, но тут же он сказал:

— Бизнес есть бизнес, мой Смит.

А на прощание он нам заметил:

— Подумайте, прошу, подумайте! Мне было бы приятно сознавать, что мой Слепой Музыкант отправляется на землю моих отцов.

* * *

Утром переводчик открыл газету и охнул.

— Пламмер умер...

«Скоропостижная смерть американского магната», — шли заголовки на том месте, где еще недавно писали про нас.

«Он умер, — переводил переводчик, — с телефонной трубкой в руках, ведя по международной линии переговоры о покупке земель в Новой Зеландии. Это был второй сердечный приступ за последние пять с половиной недель. В прошлую субботу ему исполнилось сорок два года. У него остались две дочери. С женой он находился в разводе».

Стараясь не попадаться на глаза Выжеватову, отправились мы смотреть Сэра Патрика.

— Что он нам за указ, — говорил о выжеватовских угрозах Драгоманов, — кто нас обманет? Или мы лошадей не покупали?

Поистине покупали! Немногие ремонтеры покупали столько, сколько Драгоманов на своем веку лошадей перевидал. Покупал табунами, полками, армиями. Целыми конными заводами покупал. Это ведь он тогда у внучки Байрона приобрел гнездо арабских кобыл, а в Австрии подобрал к ним жеребцов, и высочайшей породности арабские лошади появились у нас у подножья Кавказских гор.

— Ты представляешь, — начал уже мечтать в пути Драгоманов, — какую мы с тобой, Коля, эпоху сделаем? Всю жизнь я мечтал заполучить кровь Святого Симеона и выиграть на ней Дерби. Педигри (родословная) этого Сэра Патрика у меня стоит перед глазами. Тут слева, с материнской стороны, и Флоризель, и Флореаль, ну, словом, порода! А справа, по отцу, спид, спид, спид... — Драгоманов зажмурился. — Когда я думаю о том, каких маток тех же линий ему можно подобрать, то меня мороз по коже подирает. Что будет? Что будет? Что будет?

Он запел:

Ты лети с дороги, птица,
Зверь, с дороги уходи...

— Странно, однако, — заметил Эрастыч, — что при такой фешенебельной родословной за него так скромно просят.

— А я тебе сейчас все объясню, — отвечал Драгоманов таким тоном, словно Сэр Патрик уже принадлежал нам, — он мало скакал. И у него, кроме того, такое сочетание предков, что здесь он нужен, как у нас Петр Великий: вот, сыты по горло! Обмануть? Пусть попробуют. Что у нас глаза не на месте?

У нас было шесть наметаннейших глаз, три пары таких глаз (Фокин с доктором остались при лошадях, переводчик не в счет).

Жеребца сразу вывели из конюшни на коротком поводе.

— Э, да у него пипгаки! — присвистнул Драгоманов разочарованно.

— Это же, друзья мои, не порок, а несчастье, — отвечал хозяин. — Что

такое пипгаки для производителя? Что ему, призовую нагрузку нести?

Пипгаки, конечно, пустяки. Это такие на задних ногах наросты. Вроде мозолей. От прежних напряжений. От старости.

Драгоманов и сам это, конечно, понимал, но хотел у хозяина гонора поубавить. Но вообще Сэр Патрик и был Сэр Патрик, порода светилась в нем насквозь. «Сколько мужчины! Сколько в нем мужчины», — простонал про себя Драгоманов, а потом попросил:

— Вукол.

Маэстро, слегка откинув манжеты, сделал шаг к жеребцу, и один этот шаг, и один только взгляд, которым окинул он лошадь, дал понять хозяину, с кем имеет он дело. Хозяин сам под этим взглядом съежился и заюлил:

— Эмфиземка, эмфиземка у него небольшая в легких, знаете ли...

— Уважаемый, — обратился к нему Драгоманов, — теперь уж мы сами все увидим.

Могут поинтересоваться, почему беговой наездник, а не жокей стал осматривать скаковую лошадь. А я скажу, не смущаясь: Эрастыч увидел бы больше, он рассмотрел бы все, что нам в данном случае нужно. Ведь изнутри рысак от скакуна ни в чем, в сущности, не отличается. А нам и нужно было попятить, каков у него организм. Вот если бы речь шла о скаковых формах, о выдержке лошади перед скачкой, то с завязанными глазами я бы все сказал: готов скакать или нет? Тогда Костя вот так же просил:

— Николай Насибович, приезжай, посмотри, — они Ратмира на Всесоюзный готовили.

Я едва из машины вышел, еще не успел дверь запереть, как тут же увидал: «Костя! Недотянут! Натощак его галопируй, а вечером парь его в попоне». Разумеется, у каждой лошади свои кондиции. Одни хорошо скачут в теле, других надо сушить, сушить и сушить.

Приблизившись к Сэру Патрику, начал Вукол Эрастыч, разумеется, с конечностей. Пальцы наездника скользили по копыту, по бабке, по ноге, Эрастыч, словно скульптор, ногу лошадиную обтачивал, не упуская малейшего выступа сухожилий или мускулов. Потом он встал перед лошадью, обнял коня за грудь и слегка сжал. Жеребец тут же слегка осадил, подался назад. Жалуются...

— Что же вы хотите, — вставил все-таки хозяин, — призовую карьеру лошадь прошла. Плечи потрепаны, это я не отрицаю. Но ведь вы не скакать его покупаете, а производителем.

Вукол стал выслушивать Сэра Патрика.

— Да, легкая эмфизема есть. Это не опасно. Так называемая «рабочая

эмфизема». Она больше нервного свойства. В заводе будут его шагать по утрам, купать будут, витамины, сено посвежее, она и пройдет.

Эрастыч погладил жеребца по шее, потом по животу, потом слегка потрепал по крупу и стал осматривать его в паху.

— Правое чуть-чуть увеличено, — заведомо старался предупредить его хозяин.

— З-забыл, забыл, как это все по-английски! — воскликнул переводчик.

Драгоманов только знак ему рукой сделал: «Помолчи!»

Мы все дыхание затаили, и только сам Сэр Патрик от естественного возбуждения во время невольного такого «массажа» стал слегка похрапывать.

Наконец Эрастыч ударил слегка жеребца пальцами по крестцу, чтобы возбуждение перебить, и сказал:

— В порядке.

Сэра Патрика тут же увели, а конюшню на замок закрыли.

— Ну, хозяин, — вздохнул всей грудью Драгоманов, — по рукам.

Едва к самолету в Шереметьево (а домой мы летели, о, мы летели не только на самолете, но на крыльях надежды и мечты) подошел трап, нам сразу передали, что маршал просил с жеребцом прямо к нему.

Покупку мы и сами, надо признаться, как следует раскусить еще не успели. В Англии прямо на погрузку привели его, Сэра Патрика, которого Фокин тут же перекрестил для удобства обращения в Сережу (Последнюю-Гастроль называл он Полиной, а Эпигенеза, своего правого пристяжного, — Генкой). Драгоманов хотел было сделать все по охоте, как на ярмарке, повод из полы в полу передать, но хозяин предупредил: «Слишком разволнуется». Из уважения к нервам, столь «аристократическим», нарушили мы обычай. Жеребец был непосредственно в боксе поставлен в самолет, где простоял два с половиной часа, коротко привязанный. Трансатлантические рейсы были для него привычны, скакал он и в Кентукки, где был шестым, и на Мельбурнский кубок, где пришел третьим, уступив Питеру-Пену^[31] и Эмили.

Перед отлетом нас поздравляли с обновой. Правда, Выжеватов провожать нас не пришел, но Драгоманов объяснил: «Ревнует. Сватал, сватал нам жеребца, а мы и без него нашли». Сам он то и дело проверял самочувствие жеребца. Бывает, что лошади на самолете впадают в истерию. Трудно сказать, почему так получается, но дело это плохое: лошадь тогда надо, скорее всего, стрелять, потому что под ударами копыт может разгерметизироваться кабина, и тогда... Но Сэр Патрик, или по-нашему Сережа, пассажир был испытанный.

— Сережка, а Сережка, — обращался к нему Драгоманов по-свойски, — на большие дела летишь. Ты только подумай!

Всем, когда мы приземлились, хотелось взглянуть на самого Сэра Патрика, которую наши специалисты знали по книгам. Но тут уж Драгоманов воспротивился. «Не зоопарк! Не зоопарк!» — твердил он. Мы поспешили поставить жеребца из бокса прямо в наш комфортабельный автобус, привязали его там и поехали к маршалу.

Драгоманов волновался ужасно.

— Перед ним я мальчишка, — твердил он дорогой, — мы с ним из одной станицы. Только он много старше. Он уже за девками шил, а я еще сопли утирал.

Маршал жеребца увидел и тут же сказал разочарованно:

— Пипгаки!

— Это не порок, товарищ маршал, — отвечал ему навтыяжку Драгоманов.

— Понятно, не порок, но, знаешь, все-таки... Когда смотришь на лошадь с таким именем, то уж хочется видеть безупречную картину.

Долго всматривался он в жеребца, а потом попросил Драгоманова:

— Поддержи меня, слушай, с этой стороны, а то у меня что-то левая задняя шалит.

Драгоманов подставил ему плечо, и наш маршал, опершись на него, стал смотреть у коня ноги.

— В порядке, — сказал он, поднимаясь с колена и тяжело дыша.

Маршал еще раз осмотрел жеребца со всех сторон и произнес:

— Молодцы! Ну, молодцы! Такую кровь достали, такую породу привезли. Большое дело. Теперь остается только разумно его использовать. Если у наших специалистов головы хватит, они могут ему правильных кобыл подобрать, и на этих лошадях мы до звезд олимпийских достанем.

Жеребца мы поставили в автобус. Тронулась машина, а сами мы все смотрели назад.

— Молодцы, молодцы, — говорил на прощанье маршал.

И так рука, которая столько раз вздымала легендарную боевую саблю, поднялась, хотя и не без труда, нам вослед.

* * *

Ночью я очнулся, как от толчка. Сначала явилась у меня мысль: «Почему же это я на конюшне?» Надо мной склонялось лицо ночного конюха. Потом я окончательно проснулся и понял, что я дома все-таки, в собственной кровати. Но конюх-то что здесь делает? Где жена? Жену я разглядел в полумраке у конюха за спиной. В чем дело?

— Насибыч, — просвистел конюх, складывая руки на груди, — Насибыч!

— Чего тебе?

— Жеребец крутится.

И как от толчка поплыли от этих слов у меня перед глазами потолок, конюх и жена.

— Драгоманов знает?

— Он уже на конюшне.

Спешить было некуда. Шли мы с конюхом по уснувшим улицам. Конюх повторял:

— Крутится и крутится... Вроде как дурной.

Есть — глотают воздух, прикусочные. Есть — кусают себя. Есть «ткачи», которые имеют привычку, стоя в деннике, качаться из стороны в сторону или непрерывно переступать на месте передними ногами. Иные «закачиваются» до того, что стоят с ног до головы мокрые, как после тяжелой работы. Есть — копают. А этот — выходит...

В едва освещенном коридоре конюшни высился силуэт драгомановской фигуры. Молча стоял директор перед денником, в котором, не останавливаясь, кругами, кругами, кругами ходил Сэр Патрик.^[32] И столь же беспрерывно, как ходил жеребец, смотрел на него Драгоманов, хоронивший, должно быть, в душе радужные свои надежды.

Но когда я подошел к нему, он, против ожидания, оказался довольно спокоен.

— Деньги они должны вернуть, — сказал он. — Это же фирма.

Мы пошли в его кабинет молча. Что говорить? У нас перед глазами кружил жеребец, породен и правилен, но порочен, порочен, порочен...

— Будем прямо сейчас говорить с англичанами, — разъяснил Драгоманов, — переводчика я уже вызвал.

Несмотря на поздний час, малый не заставил себя ждать. А может быть, он и не ложился, потому что прибыл в белой рубашке и при галстукке. Было около четырех утра.

— Международной связи нет, — сказал переводчик, взяв трубку.

— Плохо просишь, — сказал Драгоманов.

Было очень тихо, и было слышно, как в трубке, когда переводчик настаивал: «Нам же очень нужно», — металлический девичий голос отвечал: «А другие, по-вашему, что — не люди?»

Драгоманов взял трубку сам.

— Девушка, — произнес он, — нам бы поговорить с Англией. У нас плохо с лошадьёю.

Тихо. Ночь. Все слышно. Голос отозвался: «Что ж сразу не сказали? Что нужно в Англии?»

— Ипподром.

— Ждите, не опуская трубку.

Прошло немного, и тот же голос заговорил совсем другим тоном:

— Что же вы меня обманываете? Никакого ипподрома там нет! Так ночной... там ночной клуб.

— Не может быть, — возмутился Драгоманов, — там выступали наши

лошади.

— Проверяю, — отвечала девушка металлическим голосом, но через минуту заговорила иначе, чуть всхлипывая:

— Какие лошади? Они говорят, сколько хотите голых, но ни одной лошади!

— Барышня, не шутите, — строго сказал Драгоманов.

— Хорошо, слушайте, соединяю напрямую.

В трубке щелкнуло, и где-то, очень издали, но отчетливо в телефоне слышалось: «Ах вы сени, мои сени...» Что это были за «сенн»! «Кленовые» да «новые»... Уж и «новые»! Там, казалось, не пляска, а рубка, казалось, ломают потолок и выносят на улицу фрамуги. Но отчетливо делал свое дело оркестр, и так они в целом выкаблучивались, что Драгоманов заслушался. Ведь где-то здесь, в двух шагах от ипподрома, в точности такие «сенн» откалывали лет шестьдесят назад, и мальчишкой слышал он это, — оркестранты и цыгане шли по утрам с работы, а тренперсонал — на конюшню, на работу... Вслушивался он в эхо своей юности.

Но быстро очнулся и сказал:

— Да, но ипподром все-таки где?

— Минутку, — спохватился тут наш толмач, — «ипподром» по-английски и есть «клуб», вернее, не клуб, вроде кабаре. Вместо «ипподром» по-английски надо говорить «трэк».

— Видишь, брат ты мой, — единственный раз с укоризной обратился Драгоманов к переводчику, — за точным словом ты гонишься, а ясности вовремя внести не можешь.

Сказали «трэк» — сработало. Загудело в трубке. Девушка предупредила:

— Сейчас будете говорить.

— Действуй, — передал трубку переводчику Драгоманов.

Скоро тот заговорил по-английски. Сначала спокойно. Потом вдруг забеспокоился. Стал в трубку кричать. Капли пота выступили у него на лбу. И разговор, видимо, оборвался. Он взглянул на нас, продолжая держать в руке трубку, в которой девичий голос тревожно вопрошал: «Разговор окончили? Абонент, разговор, я вас спрашиваю, закончили?»

— На ипподроме сообщают, — произнес, не отвечая ей, переводчик, — что контора ликвидировала свои дела. Хозяин уехал, не оставив нового адреса...

— Нас с тобой, — сказал мне на другой же день Драгоманов, — вызывают.

— Кто же?

— Иванов.

— Какой это?

— Не знаю. Узнавал, говорят, новый, молодой. Диссертацию защитил.

На вызове указано было: «Комната № 531», но когда дверь с таким номером мы приоткрыли, то было ясно, что попали не туда: за столом в кабинете сидел мальчик. В таком кабинете, за таким столом, в таком учреждении такой молодой человек выглядел мальчиком. Даже «молодые» здесь должны выглядеть иначе.

Притворили мы дверь и пошли проверить, где же, в самом деле, тов. Иванов, что нас вызвал. «Нет, нет, — ответили нам, — Иванов у себя...» Мы двинулись теми же коридорами, и Драгоманов сквозь зубы напевал: «Среди зноя и пыли...» Открыли мы ту же дверь и спросили у самого мальчика:

— Нам к товарищу Иванову...

— Входите, — весело улыбнулся он.

Улыбка сделала его просто ребенком.

— Садитесь, пожалуйста, — продолжал младенец с невероятным добродушием, — ваши фамилии?

С нашим ответом лицо его преобразилось. Все столь же юное, оно замкнулось.

— Ну что ж, — вздохнул Иванов, — придется нести ответственность.

Он прошел по кабинету.

— Обращаюсь я к вам, товарищ Драгоманов. Все было возложено на вас, и распоряжались всем вы.

Тут на столе у него раздался телефон. Подошел, взял трубку и, не меняя выражения лица, сказал:

— Делайте то, что диктует вам гражданская совесть. Вы должны с ней говорить как представитель следственных органов, а как муж с женой я поговорю с ней потом.

Положил трубку.

— Вы, — обратился он к Драгоманову, — по собственному произволу, в обход всех официальных каналов, игнорируя фирму, с которой заключены государственные соглашения... государственные, вы слышите, товарищ Драгоманов... пошли на сделку с барышником, с проходимцем. Это вы, которому доверили быть представителем нашего государства. И вы пустили на ветер громадные государственные средства!

Опять телефон. И все с тем же выражением лица сказал он еще кому-то:

— Что значит «сверху просили»? Где это — «сверху»? У нас наверху кремлевские звезды и закон! А если кто-то об этом позабыл — напомним.

Трубка положена. Опять взглянул он на Драгоманова — розовощекий, кудрявый.

— По прихоти действовали вы, товарищ Драгоманов.

— Я думал... — сказал было Драгоманов.

— Вы думали так, вы думали эдак, вам и в голову не приходило, — напрягся мальчик, как струна, — что есть интерес государственный, политика государственная, что есть, наконец, государственный подход к делу. К делу — слышите ли вы это, товарищ Драгоманов? Вы фантазируете, вы роскошествуете. Кончились времена подобного произвола, товарищ Драгоманов. Задумана была и стоять будет советская власть на честности.

Поднялся тут Драгоманов.

— Ты, ты, — прохрипел он, — ты будешь объяснять мне за советскую власть, щ-щенок?

И Драгоманов зашатался.

В тот год я скакал в Стокгольме. Лошадей готовил в Пятигорске, потому что в Москве начали переоборудование скаковой дорожки и сезон не мог состояться. Выдержал вес, хотя это и стоило трудов, но надо было взять Кубок Стокгольма, на который скакал я дважды и оставался вторым и третьим.

Ипподром в Стокгольме расположен за городом, и, когда мы приехали туда и поставили лошадей, я в который раз подумал, что и мы придем к тому же ипподрому где-нибудь на берегу реки под Москвой. По мере того как все больше людей становится на собственные колеса, их повлечет за город, их потянет к лошадям. У лошади, я уверен, большое будущее. Вся история подводит нас к тому.

В Стокгольме я проехал удачно. Жеребенок подо мной, по кличке Заказник, сын Задорного, принял несколько тупо, но по дистанции разошелся. Кроме того, надел я ему блиндера, иначе говоря — наглазники: они позволяют лошади видеть только впереди себя, и от этого она, опасаясь невидимого для нее натиска сзади, идет бодрее.

Шведы сердечно меня приветствовали. После скачки вспоминали мы с ними Полтаву и какие тогда были лошади. У Петра под седлом был конь персидской породы — чучело этого коня можно видеть у нас в музее, и всех оно поражает, конечно, размерами: чуть больше крупной собаки! Промеры (высота в холке, обхват груди и пр.) показывают, что лошади, как и люди, становятся со временем все крупнее.

Оторвавшись от земли среди елей, окружающих стокгольмский аэродром, мы с Заказником через два часа опустились среди берез в Шереметьеве. Я чувствовал себя персонажем из старинного наездничьего анекдота. Ставлю лошадь в вагон, еду. Тула. Смотрю: бега! Выгружаю, запрягаю, выигрываю. Ставлю в вагон, еду дальше. Орел. И тут бега! Выгружаю, запрягаю, выигрываю, да еще как выигрываю-то, один, оторванно, на руках. Дальше. Тамбов. Выгружаю, запрягаю и т. д. Но это не совсем выдумки барона Мюнхгаузена. Сам великан Крепыш, случалось, бежал в Питере, выигрывал, после чего его действительно ставили в вагон, и после тряской ночи по железной дороге он бежал и выигрывал на другой день в Москве. Но это эксплуатация лошади на износ. При современных же условиях можно и в самом деле обыграть полсвета, как это делали такие «амфибии», как Иерихонская-Труба или же новозеландец Кардиган-Бэй.

После скачки в Стокгольме Заказник как раз пришел в боевой порядок, что было видно по тому, как, играя, вышел он из самолета, готовый нестись по летному полю хотя бы наперегонки с воздушными лайнерами.

Поставив коня в карантин, я направился в дом родной, на ипподром, доложить по начальству. В Стокгольме были мы совсем недолго, так что я и не писал, и не звонил в Москву. А результаты они должны были знать из газет.

В кабинете с сияющими кубками никого не было.

— Где Драгоманов?

Но вместо ответа подали мне письмо.

* * *

«Ты не из жалостливых, но жалости мне и не требуется. Но знаешь ты нашу поговорку: „Был конь, да изъездился“. А представляешь ли, какво испытать это на себе? Не дай тебе бог дожить до этого. Они приходят с чистенькими ручками и начинают учить честности. А где бы они были, если бы я в свое-то время об этой сопливой „честности“ думал, когда рубал направо и налево? Ни средств, ни материалов не было, — ну и сиди себе со своей „честностью“! А я дело делал. Мало того — другим жить давал. Из спортшколы придут: „Овса ни крошки“. Что же мне ответить им? „Извините, я честный человек, разбазаривать государственный овес я не могу...“ А лошади, на которых надо барьеры брать, стоят некормленные. Нате, возьмите овса, — и без прошений, без бумаг, безо всякой его „честности“ и „законов“. Законы он знает! Знает ли он такие положения, когда и самый закон применять не к чему? А жить надо, работать надо, людей надо поднимать! Поговорил бы он тогда о „законах“ да о „честности“. Нет, тогда — Драгоманов, тогда он нужен был, тогда Драгоманов, не задумываясь, действовал. А теперь получили они готовенькое, изучили по книжкам и Драгоманова учить начинают, агитировать его, беднягу, за советскую власть. Не то, да не так, да наука, да факты...

А этот-то проходимец, барышник, ты помнишь, как нас обхаживал, как юлил? Как не давал он нам жеребца на свободе взглянуть, ни в конюшне, ни на ходу. То разговором займет, то просит: „Не надо! Разволнуется“. Лиса! Змей-барышник! Мастер-

барышник. А я-то... Но, пойми, мечту перед собой увидел, ожившую мою мечту. Думаю, Дерби... Наш выигрывает, наш один — и никого. От Сэра Патрика и Псковитянки. Так задумал я. И закружилась голова, старая голова. Что ж, пусть он, честный молокосос, помечтает, как я всю жизнь мечтал. Дни за днями идут, пенсию мне положили по всем правилам, вроде простили. Простили и отпустили на покой: не то теперь требуется... Горечь, если бы ты знал, какая горечь».

Спускаясь по ступенькам, я читал драгомановское письмо.

— Насибов! — раздался голос с верхней площадки.

Секретарша звала меня, та, что письмо мне передала.

— Что ж ты почту свою не забрал?

Я показал ей развернутое письмо.

— Да вот же еще!

И в пролет полетел другой конверт.

Что за кино? На конверте стояло: «Москва. Мастеру Насибову».

Я вышел из конторы на скаковой круг. Как всегда, ипподром жил своей жизнью. Да, бегут дни за днями. И каждый день одни по часовой стрелке шагают — это называется «в обратную сторону», а другие — против часовой, «в настоящую» резвят. Посередине круга возвышалась фигура верхом на каком-то рыжем, из которого старались сделать второго Абсента. На той стороне, за противоположной прямой, подымалась громада нового манежа, построенного для любителей верховой езды. Самый большой в Европе.

Вскрыл я и это, «на деревню дедушке».

Дорогой Николай Насибович!

Пишет Вам Коля с конезавода. Жокеем когда становятся? Мне очень нужно знать. Напишите мне. Я уже выздоравливаю.

Коля

notes

Примечания

1

Некоторые имена и конские клички изменены, но все — правда.

Добавим: жили Пиготы на Малой Дмитровке дверь в дверь с Чеховым и попали в его письма, так же, впрочем, как «французы» — в рассказы.

Речь идет о крупном специалисте, выдающемся знатоке конской породы, много сделавшем для восстановления нашего коневодства после войны, Михаиле Тиграновиче Калантаре.

Легендарные жокеи прошлого века, соперники равновеликие, но два разных характера, две школы езды.

В обращении к главному на конюшне «сам» — слышится отзвук древнеримского «Сам (то есть хозяин) сказал». Тип наездника, здесь описанный, представляли такие мастера, как Грошев, Родзевич, Семичов, Лыткин, одним словом, такие, как Григорий Башилов.

Тоже «конюшенный язык», особое употребление глаголов: говорится не «ездить на лошади», а «ездить лошадь», «работать, резвить или шагать лошадь».

Тренинг и призовая езда на молодых скакунах требуют веса столь легкого, что взрослому так выдерживаться невозможно. Поэтому на конюшне имеется целый штат мальчиков, называемых конмальчиками. Школу эту прошли многие выдающиеся всадники. «С детства узнал я посыл, который остался мне дорог на всю жизнь», — говорит в «Основах выездки и езды» Джемс Филлис.

Скакун экстра-класса.

9

Наружное.

Насибов вспоминает Г. М. Мишталя, мастера спорта, чемпиона СССР по барьерным скачкам.

Пол Ревир, памятник в Бостоне.

Конники-спортсмены старшего поколения, неоднократные чемпионы СССР 20–40-х гг.

Известные беговые наездники Петр Саввич Гриценко и Петр Гречкин.

Симптомы: копыто греется при воспалительном процессе от удара; дурной запах — копыто гниет; бабка может быть вывихнута, растянута, на ней могут образоваться подседы, болезненные волдыри.

Черный Принц, он же Годольфин Арабиан, был родоначальником чистокровной скаковой породы. При нем действительно всегда была кошка, которую звали Грималкин и которая видна даже на старинных изображениях Черного Принца. Вот одно из объяснений этого странного обстоятельства в без того таинственной судьбе Черного Принца: «кошки любят тепло. Англичане не каждый день навоз из денников убирают. Они только ворошат соломенную подстилку, чтобы сверху было чисто. Солома, снизу унавоженная, начинает преть. Она горит. И вот на такой соломе нередко можно видеть возле лошади кота, который, подобрав под себя лапки, жмурится от удовольствия и тепла» (из наблюдений спортсмена).

Суть в том, что герой повести Толстого Холстомер, чье настоящее имя было Мужик 1-й, принадлежал графу Орлову, однако потомство его шло из завода Шишкина, бывшего управляющего у Орлова.

При современной «короткой» посадке шпоры немислимы.

Имеется в виду, конечно, призовой скакун по кличке Нижинский. Приведем клички других знаменитых лошадей, связанных с Россией: Смоленск, названный так англичанами в честь битвы 1812 года, был победителем Эпсомского Дерби в 1813 году. А в 1847 году то же Дерби выиграл Казак, происходивший от Атамана Платова. Необходимо назвать и Петра Великого, о котором речь впереди. Помимо всех достижений на скаковой дорожке, Нижинский добился рекордной цены, он был оценен в пять с половиной миллионов. Сам Насибов не скакал с Нижинским, и рассказ о нем записан со слов профессора Б., представляющего нашу страну в Международной федерации конного спорта (ФЭИ).

С. И. Филатов — Олимпийский чемпион.

Примета: «Завтра будет славная погода, — сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас. — Что ж это? — спросил я, — Гуд-гора. — Ну так что ж? — Посмотрите, как курится. — В самом деле, Гуд-Гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча...» (М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»).

В. Прахов — классный стиплер, чемпион СССР, победитель международного Пардубицкого стипль-чеза. В Ливерпуле Прахов дважды падал по дистанции, садился в седло и продолжал борьбу. Его мужество с энтузиазмом было оценено и зрителями и прессой. Насибов неточен: вместе с Праховым в Ливерпуле скакал мастер-жокей Б. Пономаренко.

Чабан-Тутариш — наш выдающийся жокей 20–30-х годов.

В Деркульском конном заводе находилась школа жокеев.

От английского «Standardbred» — выведенный по определенному образцу, породистый.

Межпалубное пространство.

«О, прелесть! Сердце мое! Вот это жизнь!» (нем.).

Яков Иванович Бутович — коннозаводчик, знаток породы, основатель Музея коневодства, который передал Советскому правительству и был назначен его первым смотрителем. Его питомец *Ловчий* был чемпионом Всероссийской сельскохозяйственной выставки в 1923 году. Сын *Ловчего* — *Улов* — стал чемпионом Всесоюзной выставки 1939 года. Сын *Улова* — *Бравурный* — был рекордистом 40-х, сын *Бравурного* — *Бравый* — рекордистом 50-х годов. Автор интересных мемуаров, друг выдающихся художников, *Бутович* был заметной фигурой на фоне артистической Москвы. Он упоминается в «Театральном романе» М. Булгакова и под именем *Бурмина* выведен в повести П. Ширяева «Внук Тальони».

Деписты — депатрианты, перемещенные лица времен второй мировой войны, среди которых немало предателей Родины, бежавших от возмездия.

Талантливейший русский наездник-самородок В. Я. Мельгунов, известный по призовой карьере как Василий Яковлев. В его руках Крепыш установил рекорды, некоторые из которых держались четверть века. Тяжело больной, обессиленный запоем, обманутый своим владельцем, он, как писали газеты того времени, «умер с именем Крепыша на устах».

По сообщениям печати, Лестер Пигот, чтобы решить проблему веса, сделал себе специальную операцию: ему была вырезана мускулатура, для жокея как бы «не обязательная».

«Одна из лучших лошадей, каких только видел австралийский турф», — «Кровная лошадь Австралии» (Мельбурн-Сидней, 1956).

При такой нервозности жеребец как производитель использован быть не может.